

ББК 60я43

С 25

Свой путь в науке: Коллективный портрет ИВГИ. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2004. 147 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 44)

ISBN 5-7281-0773-7

Книга подготовлена коллективом Института высших гуманитарных исследований РГГУ. Составленная из ответов на анкету об индивидуальном интеллектуальном пути, она показывает своеобразие жизненных траекторий, не прямой путь к профессии и внутри профессии, разнообразие ответов на научные затруднения, специфику связей между интеллектуальными стремлениями и социальными обстоятельствами в разные исторические периоды.

Авторы посвящают свой труд директору Института Елеазару Моисеевичу Мелетинскому.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей гуманитарной науки нашего времени.

Составители

Н.С.Автономова, Е.П.Шумилова

ISBN 5-7281-0773-7

© Коллектив авторов, 2004

© Российский государственный
гуманитарный университет, 2004

Эта книга расскажет читателям о жизни и работе ученых-гуманитариев. Сейчас, в новый исторический период, мы испытываем такие же трудности с выживанием, как и все другие люди. Все мы получили образование и стали учеными при советской власти. Каждый из нас достаточно критично относился к тому, что внушала советская идеология, и пытался писать то, что думал, — на том языке, на котором это было возможно. Потом все переменилось. Кое-что из привычного оказалось возможным отбросить, но одним отбрасыванием ни у кого не обошлось, каждый пережил ту или иную внутреннюю перестройку.

Однако этот виток перемен под влиянием социальных обстоятельств не является единственным сюжетом книги. В ней берется более широкий круг вопросов. Интеллектуальный путь каждого ученого включает и период выбора профессии, и продвижение по выбранному пути, и трудности, на этом пути возникающие, и способы их преодоления.

Обо всем этом расскажут в этой книжке те сотрудники Института высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета, которые согласились ответить на предложенную нами и приведенную ниже анкету. Это, при всей условности общих обозначений, литературовед М.Л.Гаспаров, историки А.Я.Гуревич, Г.С.Кнабе, фольклористы С.Ю.Неклюдов, Е.С.Новик, философ Н.С.Автономова, филолог-германист И.Г.Матюшина, культуролог О.Б.Вайнштейн, теоретик литературы и литературной критики С.Н.Зенкин, специалист по теории эстетики Л.В.Карасев, индолог С.Д.Серебряный, искусствоведы (при всем различии эпох и предметов) И.Е.Данилова и В.Б.Мириманов.

Составители надеются, что представленные здесь самоотчеты будут интересны для всех, кому близки судьбы российской гуманитарной науки.

Как увидит читатель, пути этих авторов были разными, но в последние двенадцать лет эти пути шли параллельно: все авторы были и остаются сотрудниками Института высших гуманитарных исследований при РГГУ.

Руководителю Института — Елеазару Моисеевичу Мелетинскому — все участники этой книги хотели бы выразить свою любовь и благодарность. К ним присоединяются и те сотрудники ИВГИ, кто по тем или иным причинам не участвуют в книге, но вместе с ее участниками обязаны Елеазару Моисеевичу счастливыми годами совместной работы.

Составители

Индивидуальный интеллектуальный путь (анкета)

Дорогие коллеги! Вашему вниманию предлагается список вопросов, сгруппированных вокруг главной темы — «индивидуальный интеллектуальный путь». Представляется, что рассказ о своем пути, или методе (в этимологическом смысле слова), позволяет плодотворно соотносить работу каждого из нас с работой других людей, несмотря на все различие конкретных областей исследования, ориентаций, поколений и проч.

К сотрудникам ИВГИ постоянно обращаются с просьбой руководить молодыми, чему-то учить — и конкретно-дисциплинарному, и более личному. Сборник рассказов об индивидуальном творческом пути, построенных в любой форме — от академической до анекдотической, — мог бы стать одним из способов «передачи опыта». И еще один момент. Наверное, многих из нас за последние десять лет просили рассказать о том, чем были для нас советские и постсоветские годы, что они дали или отняли, обеспечили или исключили. Этот вопрос включен в анкету, но лишь как часть более общего вопроса об интеллектуальном пути в целом.

0. Вопрос вводный. Как Вы определяете для себя Вашу профессию?

1. О выборе пути. Каким был Ваш вход в профессию — подсказка близких людей или учителей, собственное устремление, случайное стечение обстоятельств? Какие книги или люди оказали на Вас наибольшее влияние?

2. Об изменениях. Как Вы считаете: на Вашем интеллектуальном пути происходили только количественные изменения (накопление знаний) или также и качественные? Менялся ли Ваш исследова-

тельский путь на протяжении всей Вашей жизни сколько-нибудь значительно?

Вокруг чего сосредоточивалось изменение (темы, подходы, способ включения в общую мировоззренческую картину, стиль изложения). Если такие изменения были, то обуславливались ли они тем, что можно было бы назвать «внутренней логикой» предмета (преодоление каких-то интеллектуальных препятствий, накопление данных, позволившее иначе взглянуть на свой предмет, влияние других подходов, существовавших в той же самой области), или пересечением с другими науками, другими областями знания, наконец, личной эволюцией?

Какова была при этом роль внешних (социальных, идеологических) обстоятельств?

Довольны ли Вы тем, что были последовательны (в осуществлении Вашей программы), или тем, что Вам удалось много меняться и попробовать разное?

Насколько эти изменения, если они имели место, осознавались Вами тогда, когда они происходили? Была ли это осознанная установка на будущее (отныне я буду делать так-то) или же осознание произошедшего ретроспективно, задним числом?

Что главное в этих изменениях? (Например, стало меньше эмпирии, но больше размышлений о связности, или наоборот).

Были ли в Вашей творческой жизни отдельные более или менее четко вычленимые периоды? Каковы критерии их выделения — предметы, методы, стыковые исследования между дисциплинами и др.?

3. Об обществе и сообществе. Ощущали ли Вы эти изменения как выражение общей тенденции или как Ваш индивидуальный (возможно, маргинальный) путь? Было ли источником изменений Ваше собственное решение или подход, выработанный сообща группой или школой, к которой Вы принадлежали?

Помогало ли Вам при этом в работе чужое мнение (коллеги, эксперта)? Мешало? или было более или менее безразлично? Что Вам вообще дает общение с коллегами (уточнения, полезный взгляд со стороны, желание что-то сделать совместно) или, напротив, углубление, «замыкание» в себя, что-то другое?

Считаете ли Вы, что сообщество адекватно оценивает Вашу работу? Или скорее неадекватно (завышает, занижает, игнорирует ее значение, обращает внимание не на то, что Вы считаете существенным)?

Получается ли у Вас, хотя бы иногда, убеждать собеседников, придерживающихся других взглядов, в своей правоте?

Кажется ли Вам, что за последние 10–15 лет произошли изменения в структуре и функционировании научного сообщества? Если да, в чем они выражаются: большая мобильность, меньшая профессиональность (как «меньшая степень владения материалом» и как более частные выходы за пределы своей узкой специальности), что-то другое? Можно ли сказать, что сейчас Ваша работа более (или менее) затребована обществом, чем в советский период?

Владете ли Вы разными регистрами общения с читателем — профессионалом, любителем, человек несведущим, но любознательным? Считаете ли Вы необходимым вырабатывать разные стили и приемы для общения с разными аудиториями и читателями? Если да, удастся ли Вам это? Что больше стимулирует Вашу работу — собственные размышления, контакт с коллегами-профессионалами, неожиданные вопросы непрофессионалов?

4. Об отношении к философии. Считаете ли Вы, что изучение философии в университете было для Вас чем-то полезным или нет? Работы каких философов были или являются для Вас важным чтением и почему?

Нужна ли ученому-предметнику философия (философия как знание об общих закономерностях бытия, как общее учение о методе (методах) познания, как побуждение к саморефлексии — к размышлению о том, что и почему ты делаешь)? В какой форме, по-Вашему, философия может быть *полезна* науке (как метод, как мировоззрение, как объемная мифопоэтическая конструкция)? Является ли сама философия наукой хотя бы отчасти?

Каждый из нас, будучи человеком интеллектуального труда, должен давать себе (и другим) отчет в том, на каких основаниях он строит свое рассуждение. Разумеется, существует граница между осознаваемыми и неосознаваемыми предпосылками. Наверное, можно сказать, что ученый не разрабатывает специально слоя своих аксиом (в противном случае он будет писать вечные пролегомены) и не интересуется этим вопросом постоянно, но что в некоторых критических ситуациях этот «философский» вопрос (о предпосылках и условиях возможности знания) затрагивает его более непосредственно, он размышляет об этом и в каком-то смысле становится сам себе философом. Если так, то были ли такие критические

моменты на Вашем пути? А если были, но Вам удавалось от этого уклониться, то как?

Можно ли спонтанно делать то, что делаешь, или нужно постоянно (или хотя бы регулярно) давать себе отчет о методе познания?

5. О науке и научности. Считаете ли Вы себя представителем одной дисциплины или работником на стыке разных дисциплин?

Существует ли единая наука или как минимум две ее разновидности — естественная и гуманитарная (естественные науки и гуманитарные науки)? Если две, то временно (гуманитарная наука еще не развилась) или в принципе (гуманитарная наука — другая по определению)?

Могли бы Вы сформулировать, что является для Вас критерием научности?

Считаете ли Вы свою дисциплину — историю, филологию (лингвистику, литературоведение) или какие-то ее части или срезы — наукой? Что для Вас важно в науке (наличие своей эмпирии, разработанность связной теории, возможность обсуждать относительные преимущества разных теорий, применимость математических методов, что-то другое)?

Сейчас нередкими стали споры «философов с филологами»: философы обвиняют филологов в неспособности к живому чтению современных текстов, филологи обвиняют философов в произвольности интерпретаций, подставляющих на место автора собственные впечатления. Видите ли Вы в современном отношении философии (знание о понятиях) и филологии (знание о словах) в культуре какую бы то ни было проблему?

Какова роль новых технологий в Вашей работе (компьютеры, интернет)?

Каково Ваше отношение к формальным и структурным методам вообще и в Вашей дисциплине в частности? Можно ли сказать, что «структурализм умер»?

Ваше отношение к М.М.Бахтину: сейчас его нередко называют образцом для построения современной гуманитарной науки, согласны ли Вы с этим мнением?

В какой мере гуманитарное знание может быть свободным от идеологии — от социальных обстоятельств, от общепринятых взглядов, явно навязываемых взглядов в те или иные периоды и проч.? В чем сказывалось в Вашей дисциплине давление навязываемых взглядов в советский период? Каков был Ваш ответ на это давление (уход в менее идеологические области, развитие особой риторики, скрытые

формы иронии и проч.)? Какие внешние давления Вы чувствуете сейчас, в период, когда четко определенного идеологического давления не существует (материальные формы жизни ученого, структура сообщества, формы признания и поощрения и др.)?

Можно ли говорить о смене критериев научности в Вашей области за последние полвека? Имеет ли проблема так называемого постмодерна в том или ином смысле отношение к Вашей работе?

Какова Ваша оценка современного состояния Вашей науки — в России и на Западе («нормальное развитие», кризис, чередование трудностей и их преодолений, смена «парадигм», и проч.)?

6. Чему имеет смысл учить студентов? Стоит ли прежде всего передавать знания или же скорее — способы получения знания (методы)? Существует ли что-то для Вас важное, чему Вас учили и что Вы умеете, но чему не учат и что не умеют современные студенты? Существует ли что-то для Вас важное, что умеют делать современные студенты, а Вы не умеете?

7. Вопрос последний и необязательный. Что еще Вам бы хотелось успеть сделать в жизни?

Н.С.Автономова

Коллективный портрет в рассказах о себе

Самым сильным детским переживанием было для меня человеческое непонимание. И сейчас я думаю, что взаимонепонимание есть трудно преодолимое состояние людей. Так обстоит дело и дома, и на работе. Год назад у меня возникла мысль: если нам, сотрудникам ИВГИ, где каждый возделывает свою делянку, поделиться друг с другом — не какими-то частностями, но общими траекториями интеллектуального пути, способами решения трудных задач, — то взаимопонимания будет больше. Об этой мысли я рассказала коллегам. Некоторые ее поддержали, некоторые отвергли, но все равно в итоге мне поручили составить вопросник: кто захочет — ответит на вопросы, кто не захочет сковывать себя — представит свободный рассказ. Елена Петровна Шумилова тут же предложила: если сборник получится, подарим его Елеазару Моисеевичу к его 85-летию юбилею. Теперь читателю судить о том, что получилось из всей этой затеи.

Основные пункты вопросника касаются профессии, интеллектуального пути, отношения к науке, отношения к философии, общества и сообщества, внешних обстоятельств интеллектуальной работы и др. Я не буду здесь пересказывать содержание книжки, но попробую обобщенно представить некоторые ключевые моменты этого заочного обсуждения.

Профессия. Фактически это вопрос о том, как мы смогли распорядиться тем, что с нами сделали годы обучения и жизненные обстоятельства. Когда называлась профессия, то дополнительные признаки, как правило, ярче характеризовали исследователя, чем его основная квалификация по диплому. Так, среди тех, кто имеет заведомо одинаковый диплом филолога, окончившего МГУ, «просто филологов» практически нет. Зато есть «филолог и культуролог» (Вайнштейн), «филолог и историк идей» (Зенкин), «филолог и философ» (Автономова) и т. д. и т. п. Далее: человек с дипломом философа может иметь главной областью работы «онтологическую поэтику» (Ка-

расев), а дипломированный историк — культурную антропологию, а в ней — «культуру повседневности» (Кнабе). При этом, например, профессиональный интерес к «культуре повседневности» может объединять таких различных во всех смыслах исследователей, как Г.С.Кнабе и О.Вайнштейн (на интеллектуальном пути этих исследователей культура повседневности играла разную роль: так, Георгия Степановича Кнабе она укрывала от линейной заданности «общественно-исторического развития», а Ольгу Вайнштейн — от необходимости «комментировать имена», пусть и великие).

В детстве некоторые наши рассказчики хотели быть актерами, археологами (даже не один), врачами, музыкантами, но все они стали так или иначе причастны области, условно говоря, «историко-филологической», и, кажется, никто об этом не пожалел. Впрочем, профессиональный интерес нередко вырастал (прямыми и окольными путями) именно из детских впечатлений: так, любовь к непонятным словам давала импульс к дешифровке «чужих» культурных языков (Гаспаров), изумление перед повторами в сказках побуждало к поиску единых закономерностей жизни смыслов в культуре (Неклюдов), раннее увлечение театром подсказывало путь к изучению шаманизма (Новик) и так далее — примеры этого удивительного сохранения впечатлений и развития исследовательских мотиваций можно найти во многих рассказах. Потом эти тяготения оформлялись обстоятельствами жизни, «счастливыми» или не очень, и складывались в самые различные по своим очертаниям жизненные и исследовательские траектории.

Извне, со стороны социальных обстоятельств, мест и времен рассказал о складывании своей профессии С.Серебряный: конкретные обстоятельства «трудоустройства» по очереди лепили из его общего интереса к индийской культуре то лингвиста, то философа, то библиографа-документалиста, то литературоведа, то, наконец, культуролога (это была спонтанно возникшая культурология — совсем не та, что вскоре стала официально навязываться как учебный предмет для замены бывших марксистских дисциплин). Изнутри, со стороны формирования собственного желания, рассказал о своем подходе к профессии Л.Карасев, прошедший через увлечение археологией, занятия живописью, интерес к структурам, прежде чем найти свой предмет (остается только изумляться тому, как по-разному мы читаем и понимаем одно и то же: так, для Карасева главное и определяющее влияние — структурализм, столь же высокую оценку струк-

турализму дадут, наверно, и другие, но их понимание структурализма и применение его приемов могут быть совсем иные: весь вопрос в том, как понимать структуру и на каком уровне искать структурную связность)...

В большинстве случаев самоопределение в профессии, в деле происходит через отход от навязываемого, через поиск своей ниши, через выбор наименее идеологичного предмета или наиболее удаленного от современности места. Так, в советское время поиск себя и своего интереса устремлялся в античность (Гаспаров, Кнабе), в фольклор (Неклюдов, Новик), в индийскую культуру (Серебряный), в первобытные формы искусства (Мириманов), в средние века (Гуревич)... Отталкиваться можно было от однокашников-математиков (Зенкин), от любых возможных коллег (Гаспаров с его поиском «научной щели») и от родителей. А можно было, напротив, к родителям притягиваться: так, для О.Вайнштейн и для И.Матюшиной родители стали ближайшими положительными образцами, а где можно и помощниками, в жизни и в науке. Бывало и по несколько отталкиваний: так, для М.Гаспарова изначальным прибежищем в бегстве от современников была классическая филология, а позднее, когда эта область стала для него слишком «многолюдной», он нашел новый приют в созданной им самим «лингвистике стиха». При этом официально непризнанные интересы могут со временем превращаться во вполне уважаемые научные области (Кнабе, Гуревич).

Наука. Несмотря на все противоречия между субъективными и объективными аспектами познания в его соотношении с жизнью, почти все, кто отвечал на вопрос о единой или неединой науке, утверждали, что в принципе, по своим основаниям и целям, наука едина. Это так, если под наукой понимать, например, добычу достоверного знания для выработки более или менее надежных предсказаний последствий тех или иных поступков и событий — в мире неодушевленной природы, в живом мире, в человеческом мире (Серебряный). Единственное эксплицитное исключение — А.Гуревич, который исходит из мысли о глубоком и принципиальном различии между гуманитаристикой и естествознанием и считает, что цель гуманитаристики — углубление в человеческое сознание на всех его уровнях. М.Гаспаров уравнивает возможности: естествознание и гуманитарное знание — это одна наука у Гегеля или Маркса, а у тех, кто считает, что половину сущего определяет бытие, а половину сознание, — две.

Однако единство в принципе, подчинение всего знания критериям проверяемости и достоверности, вовсе не означает его массивного и полного однообразия. Критерии научности знания зависят от конкретной предметной области (Неклюдов). Внутри гуманитарного знания в большей мере проявлена его «социальная заданность», его обусловленность временем, местом и социальными обстоятельствами (Серебряный), а к тому же гуманитарии, как правило, работают «стихийно и спонтанно», не отдавая себе отчета в том, что они делают. Но дело не только в различии главных типов знания: и внутри самой гуманитарной науки ученые работают по разным образцам и друг друга часто не понимают. Эти образцы предполагают разные акценты — на силу слова, силу факта, силу идеи (Вайнштейн); кроме того, есть авторы харизматические, уверенные в своей правоте, а есть более строгие и сухие. О.Вайнштейн говорит, что в последнее время предпочитает последних. А Л.Карасев, может быть, сделает иной выбор: он вводит в число характеристик достоверной и верифицируемой науки критерий «интересности», утверждая, что скучное знание — догматично, а значит, и не нужно.

Большинство авторов говорит о междисциплинарности как о явлении почти самоподразумеваемом, подчеркивая, правда, необходимость теоретического осмысления самого этого феномена. На этом фоне выделяется голос И.Е.Даниловой: она защищает свой искусствоведческий предмет от заемных «культурологических» интерпретаций, которые мешают сосредоточиться на собственном бытии картины или скульптуры. О сложности поиска критериев в искусствоведении, занятом ранними периодами искусства и работающем на стыке с археологией, историей, этнографией, говорит и В.Мириманов. Было время, когда искали (или пытались имитировать) точные методы (искусствометрия), а сейчас идет процесс приспособления к рынку, где «художников назначают те, кто ими торгует».

Изменяются ли критерии науки? Тут мнения внешне разнились. М.Гаспаров считает, что никаких изменений в науке не происходит, да и не может произойти, так как структура человеческого сознания остается той же самой (но, ведь, напомним — в науку входит не только то, что непосредственно определяется структурой человеческого сознания). А вот Г.Кнабе, напротив, полагает, что после 1970-х годов «истина существовать перестала», и нам остается только думать, как же теперь быть. Однако эти мнения, по сути, не являются взаимоисключающими. Одно дело — отвержение истины релятивистской фи-

лософией науки, с которой автор хочет бороться, другое дело — трактовка собственно научной работы, в которой истины может и не быть, но в любом случае идет работа, способствующая выживанию человека и человечества.

Философия. Что это такое? Нужна ли философия науке и зачем?

Догматическая и навязываемая — не нужна, она лишена какой-либо познавательной ценности (Новик), а недогматическая — нужна любому человеку, занимающемуся умственным трудом и с необходимостью задумывающемуся и над закономерностями бытия, и над путями его познания, а вот нужна ли философия для конкретного анализа научного предмета — это вопрос, скорее всего — не нужна (Неклюдов).

В.Мириманов: философия нужна ученому, как и всякому человеку. Философия — это тревога о неизвестном, вопрос о действительности, недоступной точному знанию. Философское и научное знание соотносятся как творчество и ремесло (заметим, что такое понимание очень близко Гаспарову).

С.Серебряный: лучше следовать расселовскому определению философии — это область между тем, что фактически доказуемо, и тем, что недоказуемо. Философия нужна и полезна, но не как система (не важно, марксизм или православная философия), а как школа свободного и строгого мышления об общих проблемах (преимущественно касающихся познания).

Л.Карасев: такие темы, как человек, мир, благо, свобода, смерть, истина — общи и едины для всех людей и всех философов (Платон и Делёз поняли бы друг друга). Впрочем, философия нужна не всякому: если тянуться к более общему, чем то, что изучаешь, то философия нужна, а если не тянуться, начиная с факта и им же заканчивая, — то не нужна.

С.Зенкин: философия как практика неспециализированной мысли нужна любому мыслящему человеку, но значение философии для науки — эвристическое, а не методологическое; методологическая рефлексия нужна, но осуществляется она не в философских, а в научных «теоретических» формах.

М.Гаспаров: если философия — это наука об общих законах сущего, то она полезна для частных наук, а если философия — не наука, а вера, то все равно лучше сознательное вероисповедание, чем бессоз-

нательное (оно позволяет нам дать себе отчет о том, где кончаются доводы и начинаются аксиомы).

Предложенная в вопроснике тема «философия и филология» трагивалась мало. Все, кто говорил об этом, утверждали, что основания для такого спора не научные, а только конъюнктурные или корпоративные. Правильно отмечалось, что нападающей стороной в нынешних российских спорах философов и филологов являются философы (отметим, это относится лишь к той малой части философов, которые стали считать интерпретацию текстов своей задачей и тем самым сцепились с филологией на ее поле). С.Зенкин надеется, что решает, кто прав, не философ и не филолог, а научная теория, отсюда и следует необходимость всячески ее развивать. О том, что конфликта между философией и филологией нет, говорит и М.Гаспаров: они лишь разъедают друг друга с тыла (филология философию — через историю философии как дело филологов, а философия филологию — через интерпретацию).

Автор этих строк занимает по этому вопросу осознанно двойственную позицию. Когда был опубликован наш с С.Зенкиным спор о том, «как переводить Деррида», философы радовались, что их позиции наконец-то выявлены, а когда они обсуждали (в секторе теории познания Института философии РАН) мою статью о философии и филологии, то обижались на то, что я, как им казалось, систематически занимаю позицию филологов (правда, те философы, которые обсуждали мою статью в секторе, и те, которые выступали как «противники» филологии, претендовавшие на самоличный анализ художественных текстов, — это люди почти разных профессий, несмотря на общность имени — «философия»).

По-видимому, есть люди, способные к редкому эквилибру между философскими идеями и анализом конкретного материала. Для С.Зенкина и О.Вайнштейн это Барт, у которого «ясный луч мысли различает нюансы живой повседневности».

Яркие сопряжения философии и филологии представлены в концепции Бахтина, в структурализме 60–70-х годов, по крайней мере, французском (так как в московско-тартуской школе философские темы и аспекты по целому ряду причин, которые стоило бы обсудить отдельно, приглушались).

Структурализм — это «самый мощный интеллектуальный импульс в гуманитарной науке XX века» (Карасев), причем, продолжает автор, то же самое можно было бы сказать и о Бахтине, «который вы-

соко ценил структурализм» (такая оценка отношения Бахтина к структурализму довольно неожиданна). Своего рода равнозначность структуралистских и бахтинских влияний для собственного анализа текстов отмечает и И.Матюшина. А М.Гаспаров подчеркивает: без структурного метода никакой науки вообще не существует, потому что структурно само человеческое сознание. Впрочем, быть может, наши рассуждения о нынешней применимости (или неприменимости), продуктивности (или непродуктивности) структурно-семиотической методологии основаны на недоразумении: ведь некоторые постулаты и приемы структурно-семиотических исследований, ранее отвергавшиеся и осмеивавшиеся, теперь применяются настолько широко, что их подчас просто не замечают (Неклюдов).

Что же касается Бахтина, то развернутого разговора о судьбе его наследия не получилось, но некоторые интересные мысли были высказаны: это человек героической судьбы, но «не сотвори себе кумира» (Серебряный); его интереснее изучать, чем применять (Зенкин); нужно повнимательнее присмотреться к его обобщениям, так как иногда Бахтин проецировал «идеологическую обстановку советской современности» на экран далекой истории (ср. понятие «народной культуры», Гуревич); педагогику и психологию можно строить по Бахтину, а историю и филологию — вряд ли, тут нужно понимать не зависящие от тебя факты (Гаспаров)... Зато Бахтин дал такую трактовку «высказывания», которое позволяет, например, понять возникновение архаических верований, или «естественных религий», — через механизм «персонификации» любого высказывания в речевом диалогическом общении (Новик). Несогласие может вызывать не сам Бахтин, а его догматизированная версия, преобладающая в наше время; она вредна тем, что создает иллюзию возможности универсального решения всех проблем. Ну, а быть образцом для построения гуманитарного знания единолично не может ни один ученый (будь то даже Пропп, Якобсон, Жирмунский или Лотман)...

Общество, поколения. Среди рассказчиков люди разных поколений. Для некоторых живы в памяти ученические 1940-е годы, для других — 60-, 70-е... Они по-разному помнят и оценивают стержневые события советской истории, которые так или иначе сказались на всех сотрудниках ИВГИ. В общем приходится признать, что идеология существует всегда — если не как догма, то как мода (Зенкин). А Гаспаров уточняет: в советское время обязательной была идейность, а в постсоветское — духовность, сама обязательность остается, хотя степень ее принудительности может быть различна.

А.Гуревич вспоминает вехи своей интеллектуальной биографии, препятствия, которые приходилось преодолевать: это и жизнь студента-историка, которого учили марксизму, не имевшему отношения к Марксу, и нападки на «буржуазный объективизм и безродный космополитизм» в конце 1940-х годов, и оттепель, включившая в круг чтения зарубежных мыслителей и подтолкнувшая к пересмотру методологических предпосылок работы историка, и новое усиление нажима на самостоятельную мысль с конца 50-х годов. Людям его поколения удалось многое сделать из того, что они считали нужным сделать. Но главную надежду они сейчас возлагают на «непоротое поколение». Только где же оно?

Среднее поколение активно и динамично вошло в современный мир, смело использует его технические возможности. Среди представителей успешного среднего поколения — С.Зенкин и О.Вайнштейн. У этого поколения меняются элементы языка самоописания, сдвигается набор понятий. Это поколение позитивно вводит в свой язык элементы нового прагматичного языка (рынок, выгодная ниша), апеллирует к желанию, влечению, удовольствию как критериям выбора в социальной и индивидуальной сфере. Они выступают как в чем-то более раскованные, чем представители предыдущих поколений, легко общаются с зарубежными коллегами, публикуются в модных журналах, в интернете и, по-видимому совершенно справедливо, считают критерием успешной карьеры мобильность, востребованность во всех сферах. Ольга Вайнштейн смело опирается на критерий удовольствия в работе (так, она оставляет работу над Деррида, когда чувствует, что теряет наслаждение от чтения его текстов) и выбирает в стремлении к научной самостоятельности такие предметы (семиотика одежды, культурное поведение, мода), которые вызывают азарт и удовольствие. Это поколение — активные пользователи интернета, способные превратить «интернетную помойку» в полезную личную библиотеку, умеющие не только разумно пользоваться интернетом, но и учить других тому, как это нужно делать. Всеми этими новыми свободами можно только восхищаться.

Научные школы, студенты. Идеально, когда удастся создать школу, как это некогда сделал Е.М.Мелетинский, а сейчас — С.Ю.Неклюдов (Вайнштейн).

В самом деле, какая радость, что у нас есть прямые свидетели того, как работают такие школы (Новик, Неклюдов). Семинар Мелетин-

ского в МГУ, посвященный теории и истории эпоса, притягивал к себе ищущие умы, помогал увидеть единство во внешне несходном материале, овладеть тонкими приемами его анализа. А потом, после закрытия университетского семинара, началась эпоха домашнего семинара Елеазара Моисеевича по структуре волшебной сказки. Оказывается, не обязательно вешать вывеску: научная школа возможна даже в парадоксальном (нешкольном!) виде домашнего кружка, в который входили и Е.Новик, и С.Неклюдов; за пять лет работы этот кружок породил статьи, ставшие классикой не только российской (и даже скорее не российской), но и мировой фольклористики. Мне не довелось принадлежать ни к школе, ни к кружку, но посчастливилось испытать наставническое ободрение Елеазара Моисеевича, когда в момент написания книги по французскому структурализму, в середине 1970-х, я пришла к нему в ИМЛИ за помощью с материалами по Леви-Стросу. Наверное, школа — это и постоянно проверяемая мысль, и умение публично защищать свои принципы, и вкус к совместной работе, и просто человеческая поддержка тех, кто работает рядом. Можно предположить, что именно выпестованность школой Мелетинского позволила теперь С.Неклову самому стать основателем школы.

Ну а если школы не получается — ни публичной, ни домашней? Бывает и так, и даже, кажется, чаще бывает именно так (Серебряный). Почему? Да потому что работа крупных гуманитариев в чем-то неповторима, а потому принадлежность школе нередко выступает либо как признак неуверенности в себе, что ведет к эпигонству, либо как этап в работе сильного ума, который обязательно закончится радикальным отходом. Учиться у учителя нужно — но прежде всего тому, чтобы быть самостоятельным.

А чему вообще стоит учить студентов? — Объяснять необъясненные факты, пользуясь опытом предшественников (Гаспаров); владеть иностранными языками и хорошо писать по-русски, а еще — как добывать знания и как думать своей головой (Серебряный); свободно применять различные методы (Автономова); профессионально использовать информационные ресурсы (Вайнштейн) и еще многому другому. Лучше всего — передавать знания, одновременно рассказывая о формах его получения, а кроме того — доводить до предельной ясности «фоновое» знание, обычно прямо не востребуемое (Неклюдов). Хорошо бы, конечно, учить студентов творчеству, однако это — «самое невозможное» для наставника; правда, бывают такие науч-

ные руководители, которым это удивительным образом удается (О.Смирницкая в рассказе И.Матюшиной).

А учителям тоже стоит учиться — например, работать в разных популярных жанрах и уметь писать не только для коллег-ученых, но и для начинающих, для представителей смежных профессий, для широкого читателя (Серебряный).

Все это — лишь суммарная сухая картина. Читатель сам увидит, как ярко и индивидуально говорят наши рассказчики, и, хочется надеяться, почерпнет что-то для себя новое из каждой отдельной истории. А вместе с тем он, наверное, заметит, насколько насыщены потенциальными смыслами точки возможных пересечений между различными интеллектуальными траекториями. Спонтанно эти пересечения не всегда осуществляются. Наверное, этот процесс можно интенсифицировать, предложив для следующего обсуждения какую-нибудь тему, лежащую на пересечении многих проблемных полей, например что-то вокруг судьбы формальных и структурных методов в гуманитарных науках. Структурализм, как уже отмечалось в нашем рассказе о рассказах, не умер — разве что в массовом сознании, сначала французском, а потом и постсоветском... А в ИВГИ сейчас сосредоточены сильнейшие исследователи структурно-семиотической ориентации среди тех, кто остался работать в России, среди них и отцы-основатели, и первозванные ученики. Свидетельства из первых рук всегда задают тон обсуждению, которое может далее идти в самых разных направлениях. В любом случае это позволит еще немного продвинуться в прояснении роли этого важного фрагмента нашей интеллектуальной истории, нашего наследия, без которого (на одном заемном) ничего нельзя толком построить (как, впрочем, и на одном «автохтонном»).

Хорошо все-таки, что мы смогли здесь собраться вместе под одной обложкой. Быть может, теперь, когда мы попрежнему будем собираться в нашей тесной комнате, где Елена Петровна Шумилова чудесным образом успевает и на компьютере работать, и на телефонные звонки отвечать, и чаем-кофеем нас поить, при этом думая о главном — о подготовке к печати наших рукописей, которые еще и вытребовать надо, — нам удастся взглянуть друг на друга немного иначе, заметить что-то новое, а от этого нам станет интереснее и радостнее встречаться, говорить и слушать.

Н.С.Автономова

Текст и текстиль

о. Вводный вопрос. Я определяю свою профессию как филологию и культурологию.

1. О выборе пути. В старших классах школы я поняла, что мне хочется заниматься историей литературы и иностранными языками, отсюда сложилась идея изучать английскую литературу. В этом выборе меня поддержала мама — Ариадна Юльевна Нурок, искусствовед по профессии. Отчасти это продолжение семейной традиции, поскольку среди старшего поколения нашей семьи — автор «Практической грамматики английского языка» П.М.Нурок и музыковед А.П.Нурок, входивший в «Мир искусства».

В университете моим главным учителем был А.В.Карельский. Его лекции по зарубежной литературе отличались продуманным эстетизмом стиля и структурным содержанием. На семинаре по немецкому романтизму Альберт Викторович научил читать Людвига Тика, Гёльдерлина и Гофмана, не предаваясь произвольным интерпретациям. Его иронично-требовательные замечания на полях — «Скажите по-русски», «Надо вести Вашего читателя», «Не то слово», «Текст интереснее наших домыслов» — остались для меня правилами филологического ремесла.

Основными авторами в годы учебы для меня были М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, С.С.Аверинцев.

2. Об изменениях. Траектория моих исследований существенно менялась со временем.

Я начинала как историк западной литературы, меня всегда очень привлекал европейский романтизм, особенно Новалис и Фридрих Шлегель, Озерная школа и прежде всего С.Т.Кольридж. Моей первой научной работой была статья о мотиве волшебных стекол в творчестве Гофмана, и с тех я все время возвращаюсь к романтизму. Затем я стала также заниматься историей критики — на 4 курсе у нас читал

этот предмет Г.К.Косиков, и это был превосходно построенный курс, дающий четкую систему координат. Тема моей кандидатской диссертации в Институте мировой литературы — «Мэтью Арнольд и викторианская критика» — была выбрана именно в этом ключе, а романтизм был оставлен для себя, для бесед с Альбертом Викторовичем, отдавать любимые темы на всеобщие официозные обсуждения в ИМЛИ явно не хотелось. В плане идеологически-конъюнктурного давления изучать XIX век было гораздо спокойнее, чем XX, но уже вскоре после защиты диссертации (что совпало по времени с перестройкой) я начала заниматься современными авторами — и написала о Маргерит Юрсенар, о Вирджинии Вулф, ряд работ о деконструкции и постмодернизме.

На протяжении 90-х годов я занималась критической теорией, в частности, философией Жака Деррида и гендерными исследованиями, но затем эта фаза завершилась. Возможно, тут сработали два фактора — во-первых, произошло перенасыщение абстракциями и, во-вторых, захотелось писать не комментарии, а от первого лица. Это была скорее «осознанная установка на будущее», нежели интуитивный поворот. В итоге от работ традиционной историко-литературной и философской ориентации в 90-е годы я перешла к междисциплинарной проблематике зрения, телесности, костюма.

Решающим моментом — я это довольно хорошо помню — был мой отказ поехать на престижный colloquium в Серизи-Ла-Салль в 1998 году, куда меня звала одна весьма известная философия-феминистка. От меня ожидался некий доклад на гендерные темы с привязкой к русской культуре. Я отказалась, хотя было неловко перед организаторами, но все же это было верное решение.

Надо было искать свои новые темы. Такой «своей» темой стала мода, я этим понемногу раньше занималась «для себя» — в 1993 году

у меня вышла в Иностранке статья «Одежда как смысл: идеологемы современной моды». Первой монографией по этому предмету, которую я законспектировала от корки до корки, была книга Алисон Лури «Язык одежды», благо она была в Иностранке. В 1994 году в парижской Школе высших научных исследований в социальных науках я записалась на курс мадам Дениз Поп «Семиология одежды». Мадам Поп была последовательницей Барта и специалисткой по румынскому народному костюму, ее курс восстанавливал чувственную конкретику вещей, и в то же время семиотические методы давали возмож-

ность рационального анализа. Это был хороший баланс. Когда в Париже я впервые попала на настоящие показы мод, то сразу возникло ощущение радужной пестроты, праздничной карамельности, и я поняла, что мне всегда будет приятно об этом писать. Это, по-моему, единственный верный импульс при выборе «своей» темы — внутреннее волнение, азарт и удовольствие.

Сейчас меня наиболее интересуют темы, связанные с одеждой и телом, семиотикой моды, зрением и городской культурой. Это — в широком смысле — история повседневной жизни, и challenge здесь заключается в том, чтобы анализировать в историческом ключе наиболее вездесущие и часто именно поэтому наименее изученные, ускользающие категории и явления. Двухтомник «Ароматы и запахи в истории культуры» был составлен именно с этой установкой.

Иногда я думаю, что слишком разбрасываюсь и часто меняю темы. Вероятно, внешняя разбросанность научных интересов имеет и социоэкономическое объяснение — в переходную эпоху необходимо быть мобильным, быть востребованным в разных сферах. Но на самом деле все время пишешь в принципе об одном и том же. Для меня последние несколько лет такой сквозной темой является дендизм как мода, идеология и стиль жизни, кодекс поведения в европейской культуре XIX–XX веков.

У каждого ученого есть точки фокусировки мысли, восходящие к пожизненным бессознательным фантазмам. У каждого есть своя страна-мечта в науке, как страна-мечта в детских играх: «Я в замке король». Это обжитое интеллектуальное пространство, которое порождает ревнивое чувство собственности — рефлекс «отстоять территорию» и рефлекс экспансии. Отсюда — придирический просмотр ссылок и сравнения «захватанности» того или иного места.

У крупных мыслителей ключевые идеи просты, поскольку они работают над ними всю жизнь. У Деррида это критика логоцентризма, у Бодрийяра — идея недостатка реальности, у Лакана — «бессознательное структурировано как язык», у Фуко — «знание-власть».

3. Об обществе и сообществе. У Маргерит Юрсенар есть понятие «reseaux» — сети, имеются в виду сети человеческих отношений, твоя компания в синхронии и в диахронии. Научные reseaux абсолютно необходимы — они создают атмосферу равнодушия к тому, что ты делаешь, и позволяют соотнести свои работы с общим полем идей, поддерживать нормальный интеллектуальный тонус.

Во время учебы на филологическом факультете МГУ мне нравились на первом курсе лекции Владимира Николаевича Турбина по истории русской литературы — они открывали пространство свободной мысли. Затем я занималась в его семинаре, там было принято пить чай с пирогами в конце, и студенты называли друг друга по имени-отчеству. Мы обменивались литературой, Владимир Николаевич дал мне почитать «1984» Оруэлла в оригинале. На семинаре В.Н.Турбина я впервые ощутила атмосферу настоящих научных дискуссий. На филфаке подобные бескомпромиссные дискуссии велись и в Научном студенческом обществе теории литературы, где тогда собирались А.Н.Немзер, Н.Н.Зубков, С.Н.Зенкин, И.К.Стаф, А.Ф.Строев, И.Д.Прохорова, В.А.Мильчина, А.Л.Зорин, Н.Мазур, Е.Костюкович.

В аспирантский период в ИМЛИ самыми интересными были обсуждения в Отделе теории литературы — там работали Н.К.Гей, С.Г.Бочаров, И.Ю.Подгаецкая, Д.М.Урнов, Г.А.Белая, и позднее — германист Ал.В.Михайлов. Запомнились заседания рабочей группы «Историческая поэтика», которую возглавлял П.А.Гринцер. Всегда приятным и поучительным было общение с Е.М.Мелетинским, который в итоге и пригласил меня работать в ИВГИ.

Из вольных дружеских компаний не могу не упомянуть Клуб эссеистов, который возглавлял Михаил Эпштейн. Постоянными участниками были Л.Польшакова, Б.Цейтлин, В.Аристов, А.Михеев, О.Асписова, И.Бакштейн, М.Умнова. Мы выступали с публичными импровизациями, устраивали квартирные выставки — например «Лирический музей», дискутировали по поводу работ Ильи Кабакова. На протяжении 80-х мы собирались для творческих импровизаций — один из нас предлагал тему, мы кратко ее обсуждали, и затем тут же каждый писал эссе по данной теме; надо было строго уложиться в ограниченное время — обычно мы брали полчаса или 40 минут. По интенсивности мыслительного процесса я не помню ничего подобного. Далее следовало чтение эссе по кругу и общее обсуждение. В нынешнюю эпоху такие жанры общения уже невозможны, что очень жаль.

Школа эссеистических импровизаций открывала нам дар спонтанной спонтанности письма, скрытые ресурсы работоспособности в экстремальных условиях. Позднее эта установка позволила мне быстро перейти к писанию статей для модных журналов. Но я убедилась, что писать просто порой сложнее, чем используя научные тер-

мины. «Глянцевый» слог таит немалый challenge — изложить свои идеи легким слогом, не жертвуя нюансами мысли. Реакция обычных журнальных читателей часто оказывалась доброжелательной и полезной для меня, что было поначалу удивительно. Аналогичную заинтересованную реакцию я получаю сейчас благодаря публикациям в интернете. Мнения друзей и родственников тоже порой стимулируют не меньше, чем идеи коллег.

Большое влияние всегда оказывал на меня мой отец, физик-кристаллограф Борис Константинович Вайнштейн, впервые успешно применивший метод электронной дифракции для анализа кристаллов. Папа начинал как традиционный кристаллограф, работал с минералами, а затем переключился на новую и совершенно неизученную тогда область — структуру белка. Он создал лабораторию белка в Институте кристаллографии и впоследствии сделал ряд важных открытий в этой сфере. На его надгробном памятнике изображена структура молекулы дикетопиперазина, которую он расшифровал. Как-то в разговоре папа сказал о своей научной манере: «Если я упираюсь в тупик, то не долблю без конца в эту точку, а временно отступаю, ищу пути обхода и затем возвращаюсь к данной проблеме уже с другой стороны». На лыжных прогулках он любил выбирать необычные маршруты и первым прокладывать лыжню.

Сейчас круг людей, которые мне близки в профессиональном смысле, включает ученых разных специальностей. Мне импонируют работы Сергея Зенкина, Михаила Ямпольского, Раисы Кирсановой. Из западных исследователей культуры — стабильно нравятся работы Ролана Барта, Карло Гинзбурга, Алена Корбена, Барбары Стаффорд; из историков моды — Валери Стил, Элизабет Уилсон и Кристофера Бруарда.

В российской гуманитарной науке феномен научной школы раньше был неотделим от дружеской компании: личные и профессиональные привязанности нередко переплетались. Сейчас единомышленников вовсе не обязательно связывает дружба, отношения стали скорее формальными. В чем-то это, вероятно, неплохо — как режим экономии энергии. Но получить реальный feedback стало гораздо труднее, и, вероятно, это также симптом кризиса традиционных форм академического общения.

Научное сообщество, на мой взгляд, стало более децентрализованным, и люди порой не в курсе, чем занимаются коллеги. Даже объективно значимые публикации не обсуждаются. Свежий пример — «Дру-

гие истории литературы», специальный теоретический выпуск Нового Литературного Обозрения (№ 59) — прошел в тотальном игноре среди специалистов.

4. Об отношении к философии. Еще в университете я ходила на многие курсы по истории философии на философский факультет, особенно полезными были занятия в спецсеминарах А.Л.Доброхотова, когда мы целый семестр изучали систему одного философа и читали одну книгу по главам. Таким образом мы постепенно анализировали «Критику способности суждения» Канта, «Науку Логики» Гегеля и «Жизнь как воля и представление» Шопенгауэра. В тексте каждого настоящего мыслителя есть, по выражению Пастернака, «скрытые взрывчатые гнезда», и их поиск требует особой смеси азарта и терпения. С той поры у меня осталась привычка к медленному чтению трудных философских текстов и умение получать удовольствие от процесса понимания. В свое время мне нравилось читать Платона, затем Лейбница, лорда Кеймса, Шефтсбери, Ницше и Хайдеггера, сейчас эти авторы уже не так притягивают, но Новалис остался «магнитным» как и прежде.

Конец восьмидесятых и первая половина 90-х годов прошли под знаком чтения французских постструктуралистов, это было как заход в новое силовое поле. Курс «Методология гуманитарного знания», который я читала много лет подряд в РГГУ, был отражением этого увлечения. Работы Жака Деррида, возможность посещать его лекции в Париже были очень важным опытом, не только в концептуальном плане, но и как модель поведения интеллектуала. Но в какой-то момент, ближе к концу 90-х, я поняла, что не хочу окончательно превращаться в интерпретатора Деррида и теряю наслаждение от его текстов. К тому же к концу 90-х в России уже начала складываться индустрия переводов и толкований Деррида, появился первый хороший перевод «Грамматологии» Н.Автономовой. Сейчас классики философии у меня остались для спокойного чтения на досуге.

Рефлексию о науке я не очень отделяю от рефлексии о жизни вообще, поскольку иногда записываю свои наблюдения и заметки, в том числе о науке. Некоторые вещи понимаешь только в процессе письма, но для этого надо постоянно совершать интеллектуальное усилие, пытаться сформулировать максимально полно то, что удастся мысленно выстроить на данный момент. Но верно и то, что некоторые идеи зреют постепенно, во время общения, прогулок или работы по дому.

5. О науке и научности. Сейчас в гуманитарных науках явно происходит переход к интердисциплинарным исследованиям. Это означает вторжение новой концептуальной парадигмы, размывание границ между дисциплинами, невозможность обходиться без теоретических установок.

Есть разные виды силы в гуманитарном знании. Раньше мне казалось — сила в красоте слов, в умении волшебным образом плести нюансированные фразы, как у Аверинцева и у Альберта Викторовича: стиль как чутье к словесно-смысловым оттенкам. В лекциях и книгах Деррида — другой вид силы: закрученная глубокомысленная идея, которая на твоих глазах сама произрастает, как дивное дерево, бесконечно развиваясь и уточняя себя. Это сила непонятности эзотерического мышления, которое вовлекает тебя в интерпретацию. В трудах добросовестных историков костюма типа Айлин Рибейро — третий вид силы: знать смысл устаревших реалий и загадочных словечек, отмечающих сгустки конкретики, уметь быстро — из рукава — достать занятный факт и продемонстрировать изумленным слушателям. Это требует знания дат, имен, деталей, эффектных анекдотов. Гуманитарии очень редко владеют одновременно тремя видами силы — слова, идеи, факта.

У философа и историка совершенно разная цена ошибки. Философ по идее может любое явление истолковать в своей концептуальной схеме и при возражениях отговориться по принципу «Да, но... с одной стороны, с другой...». Историк может реально ошибиться, и знающему оппоненту поймать его на ошибке гораздо легче: против фактов не пойдешь. Но факты — и к этому нас приучило гуманитарное знание последних лет — тоже материя весьма эфемерная, коварно меняющая свои очертания в зависимости от характера источника и от настройки нашего культурно тренированного зрения. Раиса Кирсанова в своих работах ищет фокусную точку, в которой вещь соединяется со словом или с изображением. Она может сравнить десятки описаний и картинок вольтеровских кресел, чтобы установить, что есть два базовых отличающихся друг от друга варианта, попутно выяснив, что Вольтера в народе вообще считали изготовителем часов и табуретов... А порой реальность и вовсе оказывается «плавающим означаемым»: крылатка — мужское пальто без рукавов, а у Чехова вдруг появляется крылатка с рукавами.

Разделение на эмпирику и отвлеченное знание во многом условно. Вот искусство комментария, казалось бы, — чистая прагматика. Но

комментарий изменчив и сам выбор объекта показывает, что нужно в данный момент читателю. Это механизм метонимии, и редукция тут неизбежна. Но откуда мы знаем, что именно мы сейчас не знаем — какие вопросы сейчас мы в состоянии задать тексту, за какую ниточку начать тянуть и раскручивать? Извечный герменевтический круг, и при кажущемся детерминизме комментариев, по сути, — пространство личной свободы. И еще азарт детективного поиска в комментарии — стэндалевскую мисс Корнел (которая в итоге нашлась в «Трактате о любви») не забуду никогда.

В гуманитарном знании решающим фактором для успеха — особенно для написания хорошего текста — порой является интуитивная уверенность в собственной правоте, даже если пока нет решающих доказательств. Этот «разумный эгоизм» исследователя создает спасительную капсулу, оболочку для развития идеи. Стыки «заклеиваются» за счет фигур речи и инерции стиля. В предельном варианте такой ученый «не замечает» противоречий или деталей, не укладывающихся в его схему. Если это талантливо сделано, его читают как харизматического автора, создателя собственного личного дискурса — случай Бахтина или Мишеля Фуко. Такой автор может быть и философом, и филологом, важно наличие сильной мотивировки.

Мне, пожалуй, сейчас ближе более «сухие» и строгие авторы. Внимательное исследование на конкретном материале порой дает более фантастические результаты, чем самые рискованные логические пируэты. Например, на портрете молодого Дизраэли работы Маклиса среди разных дендистских атрибутов изображена трость, и в рукоятке отчетливо видна некая вделанная круглая коробочка с крышкой. Я вначале решила, что это — вставная портативная табакерка, но не была уверена до конца и не упоминала эту штуку в своих статьях. Позже по текстам и другим гравюрам этой эпохи случайно я выяснила, что это вмонтированный в трость монокль, для разглядывания прохожих на прогулке, и это было занятное интеллектуальное приключение.

В целом в научной деятельности для меня наиболее ценны рационализм и интеллектуальная неожиданность, возможность развития философских идей на конкретном культурном материале. Это нелегкий эквилибр, и здесь образцом можно считать тексты Ролана Барта: в них налицо картезианская традиция, но этот ясный луч твердо преследуемой цели различает нюансы живой повседневности.

Сейчас новые замечательные возможности дает интернет — это

как энциклопедия, которая всегда под рукой, а для ученого-зарубежника интернет еще и обеспечивает доступ к редким материалам — например, западным литературным журналам XIX века. Меня восхищают колоссальные информационные ресурсы американских университетов. Самые ценные сайты, на мой взгляд, это «Голос Шаттла»¹ и «Андромеда»² — в них действительно есть нечто космическое по объему материала.

Я считаю, что для гуманитарного знания Джек Линч и Алан Лиу сделали не меньше, чем в свое время — Эрнест Роберт Курциус или Рене Уэллек.

6. Чему имеет смысл учить студентов? Имеет смысл учить профессионально использовать информационные ресурсы, прежде всего электронные. Студенты обычно берут из интернета готовые рефераты, а настоящие академические «места охоты» не знают. Они тусуются на местных форумах, и для них может стать открытием, что существует форум специалистов по викторианской культуре. Если научить, где и как правильно искать нужный материал, — это уже немало.

В моей теперешней программе по истории зарубежной литературы XIX века есть большой раздел ссылок на западные гуманитарные сайты. Многим студентам привычнее работать именно с интернет-ресурсами. Тут, правда, есть риск легкой информированности, когда знание дается в одно касание, в один клик или пару скроллов на экране. В пределе складывается привычка читать не книги, а рецензии, знать пару-тройку ключевых слов. Эта культура «касательной осведомленности» — коррелирует салонной манеры общения, изящно непринужденного и программно-неглубокого разговора. Этот жанр культивирует иллюзии — знания/общения/обладания, великолепно упакованный симулякр.

¹ <http://vos.ucsb.edu>

энциклопедический сайт по гуманитарным наукам «Voice of the Shuttle». Автор сайта — Алан Лиу из университета Санта Барбара.

² <http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Lit/>

универсальный справочный ресурс «Андромеда» Джека Линча, содержащий огромную коллекцию ссылок по всем аспектам английского романтизма, включая теоретические проблемы романтизма и страницы по отдельным авторам.

Формат лекции предполагает более серьезный разговор, причем мне нравится вести диалог со студентами. Я не сторонник такого подхода, когда лекции используются как полигон для собственных концептуализаций, — студенты рискуют оказаться невольными заложниками преподавательского нарциссизма. Подготовка к лекции — всегда повод систематизировать материал, но старый развернутый добротный формат, по сути, — антиупаковка, которая акцентирует трудовое усилие мысли, и ее нельзя переносить в жанр лекций. Изрядно утомив коллег, можно со скрипом сделать скучный доклад, но скучная лекция — это провал. В идеале на лекции должны быть выполнены три задачи античной риторики: *docere, movere, delectare*.

Возможности электронного общения со студентами сейчас сильно модернизировали преподавание, но в целом стиль работы у нас мало ориентирован на обратную связь.

Для сравнения — в Мичиганском университете, где я читала курс «Моделирование женщины», посвященный женской телесности и типологии красоты в истории культуры, гораздо жестче требования к организации курса, и у педагога есть специальные часы в расписании — «office hours», когда студент может зайти на консультацию. А в конце студенты пишут отзыв о работе преподавателя.

Наконец, очень важна работа с аспирантами — это редкая и ценная возможность воспитать учеников, обеспечить продолжение своих идей и принципов в науке, завести друзей в младшем поколении. Мне очень приятно, что моя бывшая аспирантка Л.А.Алябьева успешно защитилась и уже опубликовала книгу. Самая идеальная, но и трудоемкая, ситуация — когда ученый создает свою школу в науке: Е.М.Мелетинский в свое время создал научную школу, а теперь это удалось повторить его ученику, С.Ю.Неклюдову.

7. Планы. Сейчас я много занимаюсь темой одежды как текста, семиотикой моды. В будущем я хотела бы написать книгу в этом ключе — ориентируясь на концепцию широкой текстуальности, исследовать эстетику внешности и культуру городской жизни. Ну и еще защитить докторскую диссертацию — все-таки по романтизму.

Научная «щель»

1. Выбор пути. Боюсь, что единственный честный ответ: потому что филология ближе моему душевному складу; а как складывался этот склад — тема, слишком далеко выходящая за пределы анкеты. У меня в детстве было пристрастие к звучным непонятным словам: поэтому древняя история привлекала меня экзотическими именами, а стихосложение — словами «ямб» и «хорей». У меня было ощущение, что мороженое почему-то нравится мне меньше, чем сверстникам, а стихи Пушкина больше, чем сверстникам, но я не мог им объяснить, почему: поэтому я стал интересоваться не только тем, какие мороженое и стихи приятные, а и тем, как они сделаны. Потом и эти предметы, и этот подход закрепились для меня как средства ухода — не столько даже от действительности, сколько от соперничества с окружающими. Любить стихи Пушкина умеют многие, и конечно, у них это получается лучше, чем у меня; а знать, как они устроены, умеют немногие, и здесь мне легче чувствовать себя не хуже других. Влияние среды — вероятно, в детстве мне легче было получить ответ, что значит такое-то слово, и труднее — как устроена такая-то вещь. Влияние книг — в школьном возрасте мне попали в руки Шкловский и Томашевский, и они говорили об устройстве литературных произведений интереснее, чем советские учебные и ученые книги.

2. Изменения в пути. У меня сменились три главные области работы: классическая филология, стиховедение, общая поэтика (анализ стихотворного текста). Смены были плавными: то, что было хобби, становилось профессией, и наоборот. Я занимался стиховедением для своего удовольствия; вдруг оказалось, что оно еще не убито, и Л.Тимофеев продолжает о нем писать; и я стал заниматься им открыто. Мне было интересно, как устроен стихотворный текст; вдруг оказалось, что этим занимается и Ю.Левин, и гораздо плодотворнее; и я стал относиться к своим интересам

серьезнее. Классическая филология отучала от литературоведческого импрессионизма, стиховедение приучало к конкретности и объективности, этот опыт оказался полезен и для общего анализа текста. Методы варьировались — конечно, такая подробность подсчетов, какая возможна в стиховедении, пока невозможна в других областях, — но старались оставаться объективными. Наверное, можно сказать, что от античности к стиховедению — это поворот ближе к эмпирии, а от стиховедения к общей поэтике — больше доля размышлений о связности. А в пределах одной области сбор фактов и размышления об их связности, вероятно, чередуются, как шаги левой и правой ногой. Я такой смены тем не планировал, но раз уж так вышло, старался извлечь из нее побольше пользы: может быть, это называется «ретроспективное осознание».

Мне хотелось иметь такую научную щель, в которой поменьше давления от разномыслящих и поменьше конкуренции с единомыслящими. Последняя такая щель называется «лингвистика стиха» — это такой участок стиховедения, в котором работников можно пересчитать по пальцам. Здесь я могу работать как специалист: сам находить новые факты, систематизировать их и осмыслять. А многолюдная классическая филология стала от меня дальше всего: я давно уже занимаюсь ей только как переводчик, компилятор и популяризатор. Впрочем, когда я писал компилятивные статьи — упаковывал не мною найденные факты и сделанные наблюдения в сжатую, связную и удобовоспринимаемую форму, — то иногда мне говорили: «какие оригинальные мысли!». Вероятно, так со стороны воспринимается простое переструктурирование.

3. Общество и сообщество. «Группа или школа», с которой я общался, объединялась более или менее сходным представлением о научности, а внутри этой широкой рамки не влияла ни на мои предметы, ни на соответственные им методы. Теперь эту школу называют тартуско-московской. Чужое мнение давало взгляд со стороны, добавляло факты и побуждало что-то доделывать (реже — переделывать). Чужие оценки были скорее безразличны (исключения — только Лотман в области науки и Петровский в области перевода): важность своих работ я не преувеличивал, споров и полемик избегал. Наверное, за это ко мне относились спокойно и судили обо мне лучше, чем я, как мне кажется, заслуживаю. Писать приходилось и в научных, и в науч-

но-популярных жанрах; и в тех и в других я старался быть понятным и, по возможности, простым. Лекций почти не читал (заикаюсь) и к непосредственному общению с аудиторией не привык. Перемены в научном и учащемся обществе мне из моей научной щели почти не видны.

4. Философия. Что такое философия, я не знаю: за всю жизнь не удалось прочитать достаточно азбучной книжки о ней. То, чему учили филологов в университете в 1950-е годы, трудно считать философией. Историей философии я интересовался всегда, но скорее как филолог. Я жалею, что так получилось. Если это наука о самых общих законах сущего, то, наверное, она полезна для частных наук — позволяет им вписаться в какое-то целое и определить свои взаимоотношения. Если это не наука, а вера, то, наверное, она полезна для ученого: лучше сознательное вероисповедание, чем бессознательное. Я стараюсь давать себе отчет в том, где в моих (и чужих) рассуждениях кончаются доказательства, область науки, и начинаются аксиомы, область веры (и по каким личным причинам я предпочитаю такие-то аксиомы, а не другие); может быть, философия могла бы мне помочь. А пока приходится довольствоваться банальностями: бесконечное бытие — это множество разрозненных явлений, больно задевающих меня, конечное сознание — это по-сильное их упорядочивание, позволяющее мне среди них выживать.

5. Наука — это средство такого упорядочивания: она тем лучше, чем шире она охватывает явления и чем проще их систематизирует. То есть, наук без структурных методов не бывает, потому что всякая систематизация — это структура: так уж устроено наше сознание. Поэтому структурализм в широком смысле слова умереть не может, а в узком — как культ бинарных оппозиций? — для кого как; мне он помогает работать, значит, пока не умер. «Естественное и гуманитарное — одна наука или две?» — тоже для кого как. Для Гегеля — одна, для Маркса — тоже одна, для меня — тоже: камень, червяк и стихотворение Пушкина — одинаковые явления окружающего меня бытия. А кто считает, что половину сущего определяет бытие, а половину — сознание, для тех это разные науки. Я не преувеличиваю могущества науки. Она не притязает на объективную истину, она просто помогает нам выживать в мире. Я понимаю романтиков от науки, которые так уверены в своем вы-

живании, что считают рациональность скучной и тянутся к иррациональному. Но мне ближе классицисты от науки: как в литературе весь романтизм свободно уместается на одной из полочек классицизма, под рубрикой вдохновения и именем Пиндара, так и в науке — иррациональное на одной из полочек нашего рационального сознания, а не наоборот.

Филология — такая же наука, как другие: она собирает факты и систематизирует их. Факты ее — все, что зафиксировано словами; из этого «знания о словах» извлекается «знание о понятиях», конфликта здесь я не вижу. Кроме исследовательского отношения к словесным текстам, бывает творческое: переживание их («живое чтение») и описание этих переживаний: это необходимая часть культуры, но это не наука. Внутри филологии есть разные области («дисциплины»?), я работаю в трех, как они для меня соотносятся — сказано выше. Вне филологии есть другие науки, представить их единой «гуманитарной наукой» я не умею, поэтому насколько для нее образцом является Бахтин, — не знаю. Педагогику и психологию по Бахтину я представляю, они учат людей понимать свои поступки; а историю и филологию — нет, они учат понимать не зависящие от тебя факты. У Бахтина узкая специальность — этика, и чем дальше та или иная область науки отстоит от этики, тем бесполезнее для нее Бахтин.

Идеология как система навязываемых взглядов существует всегда, если не как догма, то как мода. Я могу выделить и то, что во мне от марксизма, и то, что от реакции на него. Моим стиховедению и общей поэтике одинаково неуютно и в советском, и в послевоенном идеологическом климате: там они слишком далеки от обязательной идейности, тут — от обязательной духовности. Смена режима сказалась в том, что раньше мне нужно было четверть сил тратить на риторические способы приемлемым образом высказать то, что я думаю, а теперь этого не нужно; это хорошо.

«Роль новых *технологий*» я с готовностью ощущаю. Читать стало легче: я работал сперва на конторских счетах, потом на арифмометре, потом на калькуляторе. Читать нужное стало легче с появлением ксерокса; наверное, станет еще легче, если научусь интернету. Писать стало легче: из-за старости голова вмещает меньше, это принуждает писать большие статьи не целиком, а по кусочкам, а это легче делать на компьютере, чем на пишущей машинке. Думать — не стало легче.

Изменений в моей науке и вокруг нее за последние полвека я не вижу. Уважения и заботы о ней не больше и не меньше, чем раньше. Структурирующее устройство человеческого сознания не изменилось, значит, и критерии научности не изменились. Поэтому научные гипотезы иерархизируются по-прежнему: лучше та, которая шире охватывает материал и проще его систематизирует. Поэтому постмодерн, для которого все мнения равны, науки не касается. Новые западные методики и наши им подражания почти не затрагивают моей области работы: они не столько выявляют и иерархизируют особенности строения поэтического текста, сколько демонстрируют, как по-разному читательское сознание может реагировать на эти особенности; а я изучаю текст, а не читательское сознание. О кризисе и смене парадигмы можно говорить только если набралось много новых фактов, не укладывающихся в старую теорию. Так ли это, я не знаю. Если эти факты — из больших культур, до сих пор нам мало известных (вавилонской, индонезийской, тунгусской или простонародной средневековой европейской), — то да, они существенны. А если эти факты из последних современных авангардных мод — то нет, важность их иллюзорна, просто в перспективе все ближе кажется большим. Подождем лет сто.

6. «Чему учить студентов». Вот факты, они накапливались вот так-то, и на их накопление история словесности и теория словесности (или иной науки) отвечала такими-то построениями. На сегодняшний день необъясненные факты — такие-то (скажем, возникновение греческого романа или появление рифмы в европейской поэзии), постарайтесь воспользоваться опытом предшественников, чтобы объяснить и их.

7. Планы на будущее. Доделать, что успею. Хотел бы добавить: «и умереть вовремя», но это не поддается планированию.

Позиция вненаходимости

Признаюсь, предложенная анкета поставила меня в несколько затруднительное положение, так как сравнительно недавно я продиктовал текст своих мемуаров («История историка»), в которых останавливаюсь примерно на том же круге вопросов, что и анкета. Тем не менее, я попытаюсь еще раз бросить беглый взгляд на пройденный мною путь.

Мемуары пишутся на разных этапах жизни автора и далеко не всегда — в конце ее; скажем, такой зачинатель жанра автобиографии, как Аврелий Августин, сочинил свою «Исповедь» вскоре по достижении тридцатилетнего возраста; Петр Абеляр написал «Историю моих бедствий», будучи далеко еще не старым человеком. Я не последовал этим великим образцам и впервые предпринял попытку обзора своей научной эволюции лишь в начале 90-х годов, т. е., приближаясь к своему семидесятилетию. Следовательно, большая часть жизни и, полагаю, наиболее продуктивная в научном отношении была уже позади. Ретроспективный взгляд, разумеется, ведет к смещению акцентов, пропорций и всего тона изложения. К тому же окончательная утрата зрения, происшедшая почти 12 лет назад, неизбежно наложила свой отпечаток на мои воспоминания. Мир утратил свои краски и отчетливые очертания, и многое из пережитого воспринимается мною ныне более сумрачно, нежели прежде.

Я отвечу лишь на некоторые вопросы анкеты, стараясь выделить наиболее существенное.

* * *

Когда я в 40-е годы минувшего столетия стал студентом исторического факультета МГУ, я крайне смутно и наивно осознавал, что такое история. К тому же в то время, да и намного позже, понимание смысла и содержания нашей профессии было в России предельно тенденциозным и односторонним. Причина заключалась не столько в том, что единственно допустимый взгляд на исто-

рию диктовался марксизмом, сколько в том, что это было лишь отдаленное и искаженное понимание марксизма, ибо ленинско-сталинская его интерпретация была скорее карикатурой на учение Маркса. В большинстве своем советские историки вовсе не были марксистами в прямом смысле, и мне неоднократно приходилось убеждаться в том, что, клянясь бородою учителя, они его даже и не читали. Вместо философии господствовала бессодержательная идеологическая жвачка, которая была совершенно неспособна наполнить смыслом профессию историка. То, что действительно преобладало, было ничем иным, как вульгарной версией замшелого позитивизма.

Сказанное отнюдь не означает, что студент Московского университета в 40-е годы был лишен возможности получить сколько-нибудь фундаментальную подготовку. На кафедре истории западноевропейского Средневековья мы приобретали довольно глубокие знания и учились вдумчивому исследованию исторических источников. Разумеется, все наши профессиональные навыки в той или иной мере прививались нам в контексте учения о способах производства и истории классовой борьбы как главного двигателя исторического процесса. Вместе с тем наши профессора были последними представителями русской школы аграрной истории, школы, которая сложилась в конце девятнадцатого века. Профессора Е.А.Косминский, А.И.Неусыхин, Н.П.Грацианский, С.Д.Сказкин и некоторые другие продолжали и развивали традиции исследования социальной истории Запада.

Однако главное и наиболее ценное, что мы, студенты и аспиранты, могли почерпнуть у наших профессоров, заключалось, на мой взгляд, в другом: наши учителя, несмотря на все препятствия и трудности советской жизни, сохраняли традиции российской интеллигенции рубежа XIX–XX столетий. Общение с ними неизменно обогащало нас — разумеется, в той мере, в какой мы были способны воспринять и усвоить воздействие их личностей. Во всяком случае, нам давались уроки преданности науке, высочайшей добросовестности и интеллектуальной честности. Сколько мы могли вместить, от учителей уже не зависело. Атмосфера, господствовавшая на кафедре Средних веков, выгодно отличалась от той, какая преобладала на многих других кафедрах исторического факультета.

К сожалению, приходится констатировать, что эти благоприятные условия вскорости стали выветриваться, так как в конце 40-х годов новая волна политической и идеологической реакции («борьба

против буржуазного объективизма и безродного космополитизма») захлестнула и наш островок. Появились новые лица, которые, выполняя руководящие указания об очистке науки от «чужеродных» элементов, вместе с тем и прежде всего позаботились о том, чтобы захватить позиции, ранее занимавшиеся нашими учителями. Последние были либо уволены, либо оттеснены на второй план и приведены к молчанию. Результатом было разрушение и уничтожение научных школ, и последствия этого злодеяния ощутимы до сих пор.

Об этих драматичных событиях я повествовал в другом месте, и здесь хочу лишь подчеркнуть, что в ходе идеологических проработок, унижавших наших учителей, мы, студенты и аспиранты, получили первые наглядные уроки общественного поведения. Если у кого-то из нас еще сохранялись иллюзии относительно истинной природы нашего общества, то теперь они должны были скоропостижно исчезнуть. Заявления иных из моих сверстников о том, что их глаза раскрылись лишь после речи Хрущева на XX съезде КПСС, либо после венгерских событий или даже только в результате вторжения в Чехословакию в 1968 году, ставят меня в тупик. Не видел правды только тот, кто предпочитал не видеть ее.

Такова одна сторона дела. То, что происходило с нами и вокруг нас, не могло не наложить отпечатка на сознание историка. Люди, в том числе и молодежь, были поставлены перед выбором между официальной ложью и приспособлением к ней, с одной стороны, и попытками вдуматься в те общефилософские принципы, которыми должен руководствоваться историк, если он хочет быть честным и сохранить собственную личность, с другой стороны.

После XX съезда «железный занавес», на протяжении десятилетий наглухо отделявший нас от остального мира, дал трещины. Постепенно в сферу нашего сознания и, соответственно, в круг нашего чтения стали включаться труды зарубежных и русских дореволюционных мыслителей — философов, историков, социологов. Это может показаться поразительным, но остается фактом, что в те годы, когда мы были студентами, мы не слышали имен Льва Карсавина или Марка Блока: наши учителя их конечно знали, но опасались поведать нам о творчестве этих и многих других выдающихся медиевистов. Не могу не вспомнить, что мой учитель Александр Иосифович Неусыхин, увлеченный идеями Макса Вебера, напечатал о его творчестве статьи еще в конце 20-х годов, после

чего подвергся идеологическим нападкам и с тех пор ни разу не упоминал этих своих публикаций, равно как и монографии «Общественный строй древних германцев» (1929), написанной им под влиянием А.Допша и своего учителя Д.М.Петрушевского.

Итак, теперь, в период недолгой «оттепели», нам, молодым, предстояло открыть для себя целый мир идей и научных достижений в области истории и пытаться хотя бы отчасти восполнить пробелы в наших знаниях.

Ситуация в советской исторической науке изменилась: «старики», наши учителя, постепенно уходили со сцены, ключевые позиции в науке и в университетском образовании занимали те, кто «стариков» оттеснил. То были люди, не обладавшие глубокими знаниями, беспринципные карьеристы. В новом они усматривали лишь ересь, продукт зловредных зарубежных влияний или погоню за ненужными псевдонаучными «сенсациями». А потому многие из начинающих историков стремились избежать опасных конфронтаций и сосредоточивались на узких или неглубоких проблемах. Широко распространенным промыслом оставались диссертации, посвященные «критике буржуазной историографии». Многие из их авторов втайне восхищались трудами историков, которых они поносили публично. Более смелые видели свою главную задачу в том, чтобы предпринять новое и более углубленное прочтение трудов Маркса, Энгельса и Ленина. Но, как правило, они по-прежнему игнорировали достижения научной и философской мысли XX века.

Должен признаться, что подобный подход к пересмотру общих оснований исторического знания с самого начала казался мне малопродуктивным. Ощущалась настоятельная потребность в пересмотре гносеологических и методологических предпосылок работы историка. В этом отношении Маркс, сколько бы в него ни вчитываться, едва ли мог дать плодотворные стимулы. Если в период своего становления как мыслителя он без колебаний выбрал сторону Гегеля (перевернув его диалектику «с головы на ноги»), то в начале XX столетия стали очевидны те тупики, в которые грозило завести следование гегельянству. Труды неокантианцев открывали новые перспективы, и потому нам, хотя и с большим запозданием, предстояло освоить идеи Виндельбанда, Риккерта и Вебера. Неокантианство предлагало историку не философскую систему, а критические размышления о возможностях познания, т. е. обращало нашу мысль на самое себя, мобилизовало наши творческие силы

не на конструирование универсальных схем, но на вдумчивый анализ своей творческой лаборатории.

На рубеже 50-х и 60-х годов я поставил самого себя в довольно сложное положение. Не обладая систематическими философскими познаниями и соответствующим складом ума, я в то же время ощутил настоятельную необходимость «накинуться» на целый ряд вопросов теории исторической науки. В результате мною были опубликованы статьи теоретического свойства, и хотя ныне я вспоминаю их содержание с известным смущением, приходится признать, что в то время они были нужны как для меня самого — историка, начавшего коренную реконструкцию собственного познавательного аппарата, — так, надеюсь, и для тех моих коллег, которые больше не довольствовались старой жвачкой.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть следующее. Размышления методологического свойства никогда не занимали меня сами по себе. Напротив, они были надобны мне как средства, с помощью которых, как мне казалось, я мог бы лучше осмыслить конкретные проблемы истории и глубже проникнуть в содержание источников. Историк, склонный обособлять свои теоретические размышления от анализа конкретного материала и превращать их в самоцель, обрекает себя на малопродуктивную схоластику. Историк же, который заботливо и с осторожностью изолируется от методологической мысли, обрекает себя на жизнь антиквара, фактографа, рассказчика анекдотов и не способен приблизиться к главной цели исторического исследования — синтезу.

Таким образом, мои размышления над предметом истории и над ее методами явились неотъемлемой и существенной стороной моей интеллектуальной перестройки. Став на этот путь, я, как и кое-кто из моих сверстников, более или менее сознательно выступали против господствовавшей идеологии. Поспешность наших выступлений не в последнюю очередь диктовалась тем, что, наученные горьким опытом, мы не могли рассчитывать на длительность «оттепели». Эти опасения полностью подтвердились в поздний период правления Хрущева и в брежневскую эпоху застоя. В конце 60-х и начале 70-х годов оправившиеся от растерянности мракобесы обрушились на тех историков и других гуманитариев, которые отстаивали свободу мысли. Об этих «битвах за историю» мне уже приходилось писать, и я к ним более подробно возвращаюсь в своей «Истории историка».

В ситуации, создавшейся после вторжения в Чехословакию, усилился нажим на независимую мысль, и с глубоким сожалением приходится констатировать, что кое-кто из моих коллег, утратившись «проработок», подвергали свои научные труды самоцензуре. Трудно передать ту атмосферу лжи, конформизма и беспринципности, в которой мы в то время жили и трудились. В этих нелегких условиях главное заключалось в том, чтобы выдержать характер и не идти на компромиссы с душителями мысли.

В этой обстановке я опубликовал в 1970 году «Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе». Эта книга, вышедшая с грифом учебного пособия, подверглась ожесточенным нападкам на объединенном закрытом заседании кафедр западного и русского феодализма истфака МГУ. Я был обвинен в ревизионизме, структурализме и прочих грехах. Что же так взволновало моих коллег, критиковавших меня, правду сказать, не только «от души», но и по прямому указанию свыше? Явления и процессы более чем тысячелетней давности внезапно приобрели злободневность.

Дело в том, что я подверг сомнению, казалось бы, бесспорный и не подлежащий обсуждению тезис о том, что феодальный способ производства был необходимой и универсальной ступенью развития во всемирно-историческом процессе. Я, напротив, полагал, что феодализм «случился» в истории лишь однократно и только на территории Западной Европы. Это утверждение было расценено «коллегами» как посягательство на учение Маркса (я употребляю термин «коллеги» в кавычках, потому что обращался со своей книгой не к предельно догматизированным профессорам университета или Академии наук, но к молодежи, к студентам, аспирантам и вообще к тем, кто интересуется историей). Это во-первых.

Во-вторых, тезису об универсальном господстве феодализма в Европе на протяжении почти тысячелетнего Средневековья я считал необходимым противопоставить мысль о многоукладности социального строя: наряду с широко распространенным рабством существовали очаги личной свободы и экономической независимости крестьянства, и социально-правовая система, доминировавшая в городах, являла собой резкий контраст системе феодальной зависимости. В Средние века коренная социальная гетерогенность не могла быть преодолена подобно тому, как она преодолевается в Новое время развитием денежного хозяйства. Не стоит упускать из виду, что если люди, живущие в эпоху капитализма, превосходно освещают

домлены об этом, так что рыночная экономика представляет собою факт их сознания, то население средневековой Европы вплоть до XVIII столетия ничего не слышало о феодализме — понятии, введенном юристами лишь в конце «старого порядка».

В-третьих, я предпринял попытку рассмотреть отношения собственности, производственные отношения как формы общественных связей между людьми, связей не только материальных, но прежде всего психологических, неотрывно связанных с человеческим самосознанием и с системой ценностей, доминировавшей в обществе. Иными словами, весь «дискурс», как теперь принято выражаться, переводился с уровня политико-экономического на уровень антропологии. В сознании тех, кто задумывался над этими проблемами, совершалась коренная ломка понятия «социальной истории»: неотъемлемым и решающим компонентом ее выступало человеческое сознание. Человек уже не отгесняется в этом понятийном контексте отношениями материальных ценностей, и его поведение, взгляды и верования оказываются столь же важным предметом исследования, как и богатства, и средства производства.

Сейчас сказанное может показаться саморазумеющимся и более или менее очевидным. Но если бы читающий эти строки возвратился на машине времени на три десятка лет назад, то он легче бы смог оценить драматизм ситуации, порожденной подобными «еретическими» мыслями. Собственно, об экономической антропологии было уже много написано и тогда, но отнюдь не у нас. Я уже кое-что тогда прочитал на сей счет, однако главные уроки, мне преподнесенные, я получил не от Мосса или Поланьи: этими уроками я обязан древним исландцам — авторам саг, эддических и скальдических песней, равно как и авторам сводов средневекового норвежского права.

В моей жизни к тому времени, которое я сейчас описываю, имели место несколько случаев, которые во многом определили ее ход и содержание. Я, собственно, случайно оказался на кафедре истории Средних веков. Такой совет дала мне малознакомая девушка, сказавшая, что мне, начинающему, нужно пройти школу у профессора А.И.Неусыхина. По окончании курса я, после долгих мытарств, все же попал в аспирантуру и написал диссертацию по социальной истории Англии раннего Средневековья. Пожалуй, наиболее ценными были не столько построения моей диссертации, сколько сомнения относительно природы земельной собственно-

сти у англосаксов, оставшиеся у меня и по завершении работы. Указания источников на сей счет были слишком скудны. И тогда мне пришла в голову мысль: не заняться ли мне памятниками норвежского права, в которых, в силу медленности социального развития скандинавского Севера, можно было несколько отчетливее разглядеть архаические формы земельной собственности? Подобный скачок через Северное море был довольно рискованным. Потребовалось изучение древнеисландского языка, на котором были записаны повествовательные, поэтические и правовые тексты, не говоря уже о других скандинавских языках. «Издержки производства» вскоре с лихвой окупились моими находками в источниках.

Первоначально я задавал этим памятникам примерно те же вопросы, какие мы, вслед за нашими учителями, задавали памятникам франкским или английским. Но вскоре я убедился в настоятельной необходимости коренным образом перестроить мой вопросник. Персонажи саг и поэм, участники судебных тяжб, описанных в записях права, не отвечали на мои традиционные вопросы. Для того чтобы понять их отношение к земле, к золоту, к кладам, зарываемым в землю или потопляемым в болотах, надобно было вдуматься в их картину мира, в их представления о жизни и смерти, в оценку ими щедрости и алчности, в их поведение на пирах и судебных сходках, в их обычаи кровной мести и многое другое. Попросту говоря, историку необходимо переосмыслить наново понятия «социальные отношения» и «отношения собственности» и попытаться осмыслить их в несравненно более широком и разностороннем понятии «картина мира».

Таким образом, моя экспансия в Скандинавию столкнула меня с комплексом представлений, с которым я едва ли встретился бы, оставаясь в пределах мира романского. Источники, относящиеся к этому последнему, веками записывались на латинском языке, тогда как население стран Запада говорило на языках народных. Между тем, «на Севере диком» люди думали, говорили и писали на родном языке, и анализ его терминологии, формул и идиом открывает перед историком уникальные возможности для проникновения в их внутренний мир. В отличие от памятников среднелатинских, как правило, останавливающих наш взор на уровне образованных (прежде всего монахов и клириков), обрекая остальное население на положение «людей без архивов и без истории», жизнь которых поэтому остается для историка малодоступ-

ной, древнескандинавские памятники позволяют нам «копнуть глубже». Если не изолировать Скандинавию от европейского континента, то ее можно было бы рассматривать как своего рода лабораторию, в которой делаются более доступными для познания проблемы культурной антропологии. Понятия последней представляется возможным испытать здесь, на этом «полигоне», в большей мере и, главное, в большем приближении, нежели применительно к латиноязычным регионам.

Едва ли здесь стоит излагать те выводы и наблюдения, к которым я пришел при изучении древнескандинавских памятников, — об этом я многократно писал в своих книгах и статьях. Более уместным мне представляется остановиться на том, что в свое время М.М.Бахтин назвал «позицией вненаходимости». Как известно, он имел в виду следующее: историк, вопреки Мишле или Дильтею, не способен «вжиться» в культуру и строй мысли тех, кто является предметом его исследования. Эти люди — иные, чем мы, но именно потому, что современный исследователь отделен от своих «пациентов» толщей времени и теми культурными сдвигами, которые наполняют временную дистанцию, их разделяющую, он, этот исследователь, способен увидеть в их культуре такие аспекты и такие структуры, которые ускользали от их взгляда. Не будучи способными уловить тот аромат эпохи, который был доступен тогда жившим людям, мы, вместе с тем, рассматриваем ее, эту эпоху, в ином контексте, в иной перспективе, а потому она может раскрыть нам некоторые свои тайны. Наша «вненаходимость» не только создает трудности, но и открывает новые возможности для познания.

Мне кажется, что идею «вненаходимости» можно повернуть и несколько иначе. Речь идет здесь уже не о людях прошлого, историю которых мы хотим восстановить, — речь идет о наших современниках. Антропологическое понимание истории в наибольшей степени развито исследователями, принадлежащими к Школе «Анналов». Их монографии и статьи за последние полтора-два десятилетия стали доступны русскоязычному читателю. И поэтому он, наверное, легко согласится с тем, что историки, принадлежащие к этой школе, почти без исключения, избирали и продолжают избирать ныне в качестве предметов своего исследования мир романский или романизованный. Февр и Блок, Бродель и Дюби, Ле Гофф и Леруа Ладюри охватывают своими исследованиями историю Франции, Прованса, Испании, Италии

или Средиземноморья. За пределы этого романского универсума они выходят сравнительно редко. Подобно тому как языком науки и культуры для французов остается язык французский, так и миром Средневековья и начала модерна для них традиционно остается мир латиноязычный. Я далек от какой-либо критики. Этими учеными и их коллегами и учениками сделано так много, что критик немеет.

Медиевист, работающий в России, но изучающий историю Запада, находится в ситуации «вненаходимости». Может быть, он субъективно стопроцентный западник, но взгляд его на запад — это взгляд с востока. Когда корифеи русской школы средневековой аграрной истории И.В.Лучицкий, П.Г.Виноградов, М.М.Ковалевский, Д.М.Петрушевский, Н.П.Грацианский, Л.П.Карсавин, Е.А.Косминский, А.И.Неусыхин, М.А.Барг и другие концентрировались на изучении социально-экономических институтов Англии, Франции, Италии и других стран, они руководствовались пониманием аграрного строя своей родины, знанием судеб русского крестьянства. Наш интеллектуальный background иной, нежели тот, который присущ французским или итальянским, или иным западным коллегам. Может быть, наша европейская «неполноценность» дает нам и кое-какие преимущества? Недавно один молодой московский медиевист упрекнул меня за то, что рисуемая мною средневековая картина мира отличается «норвежским акцентом». Я думаю, что речь должна идти не о каком-то локальном «акценте», а о том, что при изменении перспективы, в которой мы рассматриваем историю средневековой Европы, я надеюсь разглядеть остатки той Атлантиды, которая скрыта от нас латиноязычными текстами.

Приведу один пример: в двух пунктах Северной Европы — в Новгороде и окружающей местности и в Бергене — археологами были обнаружены многочисленные остатки бытовой переписки простых людей, прежде всего горожан, — берестяные грамоты, написанные кириллицей, и дощечки с руническими письменами. Исследователи латиноязычного мира привычно и не без оснований говорят о контрасте между *litterati* и *illitterati*. Первые в той или иной мере обладали латинской образованностью, вторые были неграмотны и немы и для себя, и для историков. Раскопки в Бергене и в Новгородской земле являют нам нечто иное, так что границу между грамотностью и безграмотностью историкам приходится несколько переместить и заново осмыслить.

Изучение древнесеверных памятников знакомит нас с таким богатством социальной и культурной терминологии, с такими нюансами и оттенками смыслов, о которых не может и мечтать исследователь среднелатинских хартий, хроник или житий святых.

Сказанное невольно подводит нас к другой бахтинской формуле — о «народной культуре». За четыре десятилетия, отделяющие нас от появления книги «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», понятие «народная культура» обнаружило свою двусмысленность и неопределенность, слабую применимость к реальным феноменам средневекового мирозиденья. Речь явно должна идти не о противостоянии культуры образованных «агеластов» карнавальной смеховой культуре простонародья, как это воображал Бахтин, проецировавший, на мой взгляд, идеологическую обстановку советской современности на экран далекой истории. В сознании любого человека Средневековья приходится предположить наличие разных пластов и уровней — языческого и христианского, образованности и фольклора. За последнее время появилось немало исследований, демонстрирующих многослойность человеческого сознания, и, собственно, только при учете этой многоплановости и противоречивости можно было бы уяснить своеобразие того все еще во многом загадочного феномена, который именуют «средневековым христианством».

* * *

Здесь уже нет места для характеристики или хотя бы для простого перечисления тех проблем, которые, как мне кажется, с неумолимою логикой возникали передо мной после того, как я попытался преодолеть взгляды, господствовавшие в советской историографии. Начиная с «Категорий средневековой культуры» и кончая книгами «Индивид на средневековом Западе» и «Исторический синтез и Школа “Анналов”», я, как это кажется в ретроспективе, двигался по пути, во многом predetermined уже в 60-е годы. Свобода поиска и предзаданность его результатов как бы сливаются в судьбу, над которой индивид не властен. В начале этого пути я неизменно встречал упорное и активное противодействие, так что выражение «бои за историю» отнюдь не является преувеличением. Если верить Корнею Чуковскому, «в России нужно жить долго» — тогда действительно станешь свидетелем того, как мысли, первоначально порицаемые и отвергаемые ученой сре-

дой, становятся приемлемыми и даже банальными. Вот свежий пример: организованный мною коллектив медиевистов создал «Словарь средневековой культуры». Заложенные в него принципы исторической антропологии были встречены на обсуждении этого тома вполне положительно. Намного раньше мои исследования, шедшие в этом направлении, получили поддержку зарубежных коллег, и некоторые из моих книг, переведенные в общей сложности на два десятка языков, в ряде стран включены в списки научной литературы, рекомендуемой для студентов и аспирантов. Эти книги были адресованы отечественному читателю, но оказалось, что их содержание и заложенная в них методология тесно перекликаются с направлением мысли медиевистов, в той или иной мере разделяющих антропологический подход. Именно этот подход я и мои коллеги стараемся реализовать не только в упомянутом словаре, но и в ежегоднике «Одиссей. Человек в истории», который выходит с 1989 года. В этом периодическом издании публикуются многие работы, которые были заслушаны и обсуждены в семинаре по исторической антропологии. Мы публикуем также статьи зарубежных коллег. Обсуждение общетеоретических вопросов мы стараемся объединить с конкретными исследованиями. Я отдаю себе отчет в том, сколь могущественны «чары» позитивизма и бескрылого эмпиризма. Принципы историко-антропологического анализа даются историку с несравненно большим трудом, нежели привычные приемы. Но нас поддерживает мысль, что мы более не одиноки. Я уповаю на то, что возмужавшее новое поколение «непоротых» историков наберет достаточно интеллектуальных и моральных сил для достижения и обоснования нового, более открытого взгляда на историю.

В анкете задан вопрос о научности гуманитарного познания. Естественно, я исхожу из мысли о глубоком, принципиальном различии между гуманистикой и естествознанием. Я настаиваю на том, что будущее рода человеческого непосредственно связано с развитием наук о человеке. Смысл этих наук — не в открытии универсальных законов, но в максимальном углублении в человеческое сознание на всех уровнях. Смысловой центр этих наук — человеческая личность.

«Познай самого себя» — этот призыв может быть одинаково обращен и к истории, и к историку.

Об искусствознании сегодня

В последнее время у меня все чаще возникает желание занять круговую оборону, чтобы защитить искусство от интенсивного, порой агрессивного напора культурологических, исторических, филологических и всяких иных комментариев, которые грозят заглушить самый объект комментирования, перекрыть то безмолвное сообщение, которое содержится в произведении искусства изобразительного. Аналогичный процесс можно наблюдать сейчас в литературе, где возникают романы, являющие собой комментарии к несуществующему тексту самого романа (Пьер Корнель. Пути к раю. Комментарии к потерянной рукописи. 1987. Ср. у Набокова в романе «Бледный огонь»: «Жизнь человека есть лишь череда сносок к громоздкому, темному, неоконченному шедевру»). Возникает опасность появления искусствоведческих исследований, посвященных не созданным картинам и скульптурам.

Не менее опасна уже существующая обратная ситуация — превращение произведений изобразительного искусства в простой комментарий к той или иной культурологической концепции.

Я отнюдь не против культурологических и всяких других аналогий при анализе произведений изобразительного искусства. Я только за то, чтобы сначала расслышать, что «говорит» сама картина, а потом уже искать этому аналогии и объяснения в менталитете общества или эпохи. Ведь менталитет это именно то, что в свернутом виде содержится в самом произведении искусства, и задача так называемого «формального искусствоведческого анализа» (Г.С.Кнабе) (непонятно, почему «формального», может быть, правильнее — семиологического, т. е. такого, который «изучает содержательную сторону форм вне их сюжетного содержания» — Р.Барт) вскрыть «черный ящик» форм, расшифровать содержащееся в нем визуальное сообщение, которое часто не совпадает с комментариями и раскрывает неожиданный, глубинный аспект «менталитета общества».

При культурологическом истолковании картина включается в широкий культурно-исторический контекст, и это повышает ее в ранге, выводя за рамки «чистого» искусствознания. Однако при этом возникает опасность сведения ее роли к простой иллюстрации той или иной историко-культурной концепции.

В 1833 году в Петербурге появилась прославленная картина Карла Брюллова «Гибель Помпеи». Пушкин в стихотворении 1834 года увидел в ней намек на «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» («...пламя / Широко развилось, как боевое знамя. / <...> Кумиры падают...»). В том же году Гоголь в статье, посвященной полотну Брюллова, пишет: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который чувствуя свое страшное раздробление <...> выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою» (очевидная переключка со словами Пушкина о том, что «война 12 года открыла русским, что у них есть отечество»).

Два десятилетия спустя Герцен приписывает картине Брюллова мысль о гибели русского народа под гнетом самодержавия — «дикой, тупой, несправедливой силы, всякое сопротивление которой <...> бесполезно».

Все эти историко-культурные истолкования обогащают, расширяют содержание картины. Но если попытаться раскрыть не ее сюжетную метафору, но — как предлагает Ролан Барт — «содержательную сторону форм вне их сюжетного содержания», разгадать композиционно-смысловую метафору картины, то становится очевидным, что Брюллов создал историческое полотно без главного героя, с пустым центром — опустевшую сценическую площадку истории: ситуация России 1830-х, после-декабристских лет.

Решение Брюллова — сознательное или интуитивное (Брюллов, по его собственным словам, «закончив картину, целые две недели ходил в мастерскую, чтобы понять, где <его> расчет был неверен» и только после того, как он сильнее высветил середину, решил, что картина закончена) — приобретает особую смысловую напряженность, причем не на уровне сюжета, но на более глубинном композиционном уровне, при сопоставлении с писавшимся в те же годы, но в иной исторической ситуации, полотном Делакруа «Свобода на баррикадах», где динамически сдвинутая вправо пирамида увенчана фигурой главной героини, увлекающей за собой толпу. Формула повышенной исторической активности у Делакруа. Формула пассивной исторической опустошенности, когда все действующие

лица покидают сценическую площадку истории, — у Брюллова. («Быть может, — писал Борхес, — всемирная история — это история всего лишь нескольких метафор».)

«Расслышать» то, что говорит произведение искусства изобразительного, что содержится в его визуальном высказывании, — неотложная задача искусствоведения, которое, как мне представляется, переживает в наши дни методологический кризис.

Одна из причин его, возможно, состоит в том, что произведения изобразительного искусства, особенно живописи, слишком «засмотрены», прежде всего, из-за их небывалой визуальной доступности, из-за безграничных возможностей их репродуцирования (увы, не всегда качественного, особенно в цвете) — не только в книгах, альбомах, но и на телеэкранах, и особенно в разного рода рекламной продукции. Это создает эффект *déjà vu*, мешающий непосредственному восприятию подлинника как единичного, неповторимого, впервые явленного глазам зрителя. Эта опасность грозит, прежде всего, признанным шедеврам, по отношению к которым часто возникает эффект зрительской усталости, протеста и даже отторжения.

Когда в начале XIX века Жуковский увидел в Дрездене «Сикстинскую Мадонну», он испытал настоящий эстетический шок первоувиденного и открыл для себя в этой картине самое главное, то, что составляет суть ее визуального сообщения (ее «первоначальное созидающее основание» — Зедльмайр). Жуковский назвал Марию «мимойдущей Девой», определив в этих двух словах и непосредственное зрительское впечатление — и главный смысл ее исторической ментальности. Во второй половине столетия эта картина, признанная в России (в значительной степени, с легкой руки Жуковского) за непревзойденный шедевр, которым положено восхищаться всем, как побывавшим, так и не побывавшим в Дрездене, оказалась если не «засмотренной», то «запересказанной», и стала вызывать разочарование, даже раздраженное неприятие. (Теперь в ней не находят ничего особенного, заявляет одна из героинь романа Достоевского.) В советское время известный художник-академик (не хочу называть его имени — боюсь ошибиться) одним из первых, увидев картину, заявил снобистски небрежным тоном: Ну, видел я эту Сикстинскую — ничего особенного, просто клеенка (цитата не вполне точная, но за «клеенку» могу поручиться). Конечно, Сикстинская Мадонна осталась одним из шедевров искус-

ства Возрождения. Но мы — обеднели. И не только из-за того, что ее до такой степени «засмотрели» (Достоевский даже, к ужасу музейных зрителей, пытался влезть на стул, чтобы поближе взглянуть в ее лицо), но также из-за того, что ее «заговорили», «записывали», «заанализировали».

Не только об этой картине Рафаэля, но и о других великих, или просто значительных, произведениях искусства написано так много, что кажется — сказать уже больше нечего. Искусствоведение в последние годы интересуется не столько анализом самих памятников, сколько историей их создания, биографией художников, их отношениями с заказчиками, поисками новых имен, новыми атрибутами, введением в научный обиход мастеров второго и третьего ряда.

С другой стороны, искусствоведческая наука, особенно отечественная, активно занимается общими закономерностями развития искусства, эволюцией стилей, спецификой национальных школ, типологией искусства, его классификацией — иными словами, тем, что объединяет произведения, группирует их по принципу сходства. При этом неизбежно нивелируются их своеобразие, неповторимость их образного языка («Достичь сущности произведения искусства через указание черт, общих с некоей школой или временем, невозможно, так как истинные поэтические произведения — это то, что <...> отделяется от школы как единичное» — Зедльмайр). Кроме того, из этого классификационного процесса оказываются выпавшими мастера, творчество которых не укладывается в прокрустово ложе национальных школ и в закономерности эволюции стилей. Однако в творчестве именно этих мастеров так называемого нестилевого искусства, в их произведениях, составляющих исключения, которые отнюдь не подтверждают правила, но, напротив, взрывают их, — зачастую открываются новые, неожиданные возможности, новые «правила», обращенные в будущее (как, например, в «Бичевании Христа» Пьеро делла Франческа или в «Блудном сыне» Рембрандта).

Несколько лет тому назад кто-то из корреспондентов предложил мне ответить на вопрос: что я думаю об искусствознании сегодня. В ту пору у меня не было стимула для ответа. Он возник в последние годы, когда я начала читать для студентов РГГУ спецкурс «Судьба картины в европейской живописи». Я обнаружила, что мои слушатели в подавляющем большинстве случаев не ви-

дят произведений. На семинарах, на зачетах они порой приводят достаточно подробные сведения об истории создания картины, о биографии художника, иногда о стиле, к которому относится произведение, даже о «менталитете» эпохи, но как подступиться к анализу самого памятника, они не знают. В лучшем случае стараются рассказать о сюжете, т. е. о том, что изображено. Это не столько их вина, сколько, как мне представляется, красноречивое свидетельство состояния нашей науки сегодня, которое несомненно влияет на построение учебных программ.

В своих лекциях и семинарских занятиях я пыталась научить студентов тому, что в литературоведении называется способом медленного чтения-вслушивания в каждое слово, в его смысловые обертоны, в конструкцию фразы, в синтаксис. Применительно к искусствоведению аналогичный прием можно назвать приемом медленного всматривания, результатом которого должно явиться раскрытие образной сути произведения, содержащегося в нем визуального речения. Для меня было большой радостью, когда в конце занятий на мой, обращенный к слушателям вопрос — чему я пыталась их научить, я услышала достаточно дружный ответ: видеть картины.

Собственно, ради этого мной была предпринята попытка с помощью компьютера раскрыть, истолковать визуальные метафоры некоторых, хорошо известных студентам произведений путем анализа не от содержания — к композиции, но от композиции — к содержанию.

Приведу два примера.

«Сикстинская Мадонна» Рафаэля построена по традиционной формуле монолога с фигурой главной героини, изображенной в фас в центре композиции. В Италии эпохи Возрождения этому соответствовал распространенный сюжет — «Святое собеседование» (Богородица с предстоящими). О «Сикстинской Мадонне» писали много, особенно в России. В ней видели воплощение духовности, жертвенности, восхищались трагическим выражением глаз Марии и Младенца, которые «Голгофу видят пред собой». Иными словами, речь шла о сюжетно-психологическом истолковании картины, при котором фигуры предстоящих Сикста и Екатерины «мешают <...> они сделали бы очень хорошо, если бы ушли из картины» (Крамской). Начиная с XIX века было принято репродуцировать, сначала в гравюре, а затем в фотовоспроизведении, лица

Марии и Христа. Только Жуковский обратил внимание на важную «говорящую деталь» композиционного решения картины: Мария — главное действующее лицо трехчастной иконографической формулы «Святого собеседования» — не восседает на троне и не стоит, являя себя зрителю, — она идет, проходя мимо предстоящих, на которых «не обращает никакого внимания» (Гончаров). Взламывая композиционную матрицу триптиха, она уходит из «обустроенного» занавесом и облаками, населенного святыми и херувимами мира картины, чтобы остаться в полном одиночестве, с глазу на глаз с бесприютным, внекартинным миром зрителя, откуда врывается порыв ветра, дующего ей в лицо. Коленопреклоненные фигуры Сикста и Варвары, на которых Мария, по справедливому замечанию Гончарова, «не обращает внимания», для того и нужны художнику, чтобы Она, в сознании своего полного внутреннего одиночества, прошла мимо них. В том и состоит главное — не сюжетное, но композиционное — речение картины. Расшифровав его, можно перейти к общим историко-культурным выводам (или комментариям). Тема одиночества человека в рукотворном мире картины возникает в итальянском искусстве в последней трети XV столетия; с начала XVI этот замкнутый рукотворный мир начинает размыкаться под напором неподвластных человеку природных стихий света, мрака, движения воздушных масс; начинает раскрываться в безграничное внекартинное пространство — в пространство одиночества. Композиционная метафора «Сикстинской Мадонны», где Богородица, главный персонаж иконографической матрицы «Святого собеседования», готова уйти (и, раскрывая метафору, уходит) из картины, — начало этого процесса. Мир, ставший в XVI веке бесприютным, в следующем столетии становится безграничным.

Другой пример — композиционная формула диалога, когда опускается среднее звено и персонажи вступают в общение, переключаясь через пространство смыслового интервала. В отличие от фасовой ориентации композиционной формулы монолога (Флоренский), формула диалога имеет ориентацию профильную, где разделяющий фигуры промежуток служит для обмена энергиями потоками.

В полотне Матисса «Разговор» диалогическая ситуация раскрывается в контрасте высокой, нестигаемо прямой, почти столпообразно стоящей мужской фигуры, в светлой, вертикально полосатой пи-

жаме, с бескомпромиссной резкостью рисующейся на тусклом голубом фоне стены, — и сидящей справа в кресле женщины в черном. Их разговор озвучивается в пролете смыслового интервала, где помещено окно с видом на пейзаж. Однако законное пространство не распаивается вовне, неба не видно, зеленая лужайка безнадежно глухого тона не раскрывает, но скорее заслоняет оконный проем. Как это часто у Матисса, внешнее пространство производит впечатление втиснутого в комнату (как сказано у Бродского: «там есть пространство, но / к нам вытесненным выглядит оно»).

Внутреннее противостояние персонажей, их взаимоупертость, проигрывается в контрасте повторяющего силуэт мужской фигуры ствола дерева за окном — и горизонтали прозрачной чугунной решетки в нижней части окна, узор которой варьирует округло изогнутые очертания женской фигуры, мягкую пластику ее рук. Немаловажная деталь: окно расположено не в центре картинного поля, но слегка сдвинуто вправо, словно под напором несгибаемых вертикалей мужской фигуры, так что чугунная решетка остро касается женской руки на подлокотнике кресла. Если бы окно находилось в центре, разговор персонажей оказался бы менее напряженным. Окно в этой картине выполняет роль визуальной стенограммы, без него разговор не мог бы состояться — возникло бы состояние враждебной, почти агрессивной некоммуникабельности — ситуация не разговора, но разрыва. Некоммуникабельность — одна из главных мучительных проблем XX столетия.

Вопрос о композиции как осознанном творческом акте художника возникает в искусстве в эпоху Возрождения. Средневековый иконописец не должен был создавать заново визуальный образ иконы, композиция как сознательный творческий акт, как изобретение, придумывание вытеснялась для него задачей бережного воспроизведения иконографического образца (первообраза). Это — на уровне сознательно-установочном. На уровне бессознательно-творческом, глубинном, в пределах строгого соблюдения иконографических правил, в иконописи зачастую происходили такие композиционные трансформации, которые меняли, во всяком случае перетолковывали, образное содержание изображаемого сюжета.

Композиционная поэтика иконы связана с особенностью средневековой жестикуляции. Жест в иконописи, как правило, бесконтактен. Подобно слову, он «бросается» в пространство, подобно слову, он действует на расстоянии (ср. у Мандельштама: «Поэт

бросает звук в архитектуру души <...> и следит за блужданием его...». Жесты персонажей словно дирижируют изображением, внося композиционно-смысловые акценты в традиционную иконографию.

Феофан Грек пишет икону «Преображение», строго соблюдая принятый иконографический образец: в верхнем ярусе иконы, на горе — Христос в белом одеянии, по сторонам от него в позе предстояния — Моисей и Илия, у нижнего края иконы — три фигуры упавших апостолов. Но Христос «бросает» в пространство едва уловимый жест — и свершается чудо: вспыхивают, подобно мощным прожекторам, пять свето-силовых лучей, происходит взрыв, выброс энергии, в горе образуются расщелины, горные пласты приходят в движение, сраженные ударами строго направленных на них белых силовых лучей, стремительно летят вниз фигуры апостолов. Раздается воспринимаемый одновременно глазом и ухом (ибо Слово Божие, как говорится в одном из канонических текстов, «являет себя миру в рисунке движений») грохот рушащегося и вновь создаваемого мира.

Хотя Средневековье не имело понятия о композиции как зримом воплощении творческого акта художника, в средневековом искусстве, так же как в искусстве Нового времени, именно композиция, осознанно или интуитивно, являлась главным средством визуализации речения, которое содержится в произведении искусства изобразительного.

Лекции прочитанного мной спецкурса строились, в основном, на материале, знакомом студентам по общим курсам истории искусства. Моя задача состояла в том, чтобы предложить им посмотреть на изобразительное искусство (в данном случае на живопись) не с точки зрения общих закономерностей эволюции стилей и становления национальных школ, не с точки зрения иконологии, т. е. символического истолкования изображений, не с точки зрения культурологической, когда произведение включается в широкий исторический контекст, выполняя роль иллюстрации, комментария той или иной концепции развития культуры. Все эти аспекты важны для общих циклов лекций по истории искусства. Я пыталась научить своих слушателей понимать (разгадывать) «лица не-общее выражение» каждого отдельного произведения, его образно-смысловое ядро (его «живую сердцевину», то «изначальное и индивидуальное, что отпечаталось в целом произведении настоль-

ко же, насколько и в каждом элементе, части или слое» — Зедльмайр, его «метафору» — Алпатов, его «идеолект» — Эко), содержащееся в нем визуальное послание. Иными словами. Воспринимать образно-смысловой аспект композиционной формулы в ее соотношении с сюжетом (порой — их полное смысловое несовпадение).

Первая часть курса состоит из двух разделов.

1. Судьба картины как особого художественного феномена, как «общей формулы мировидения» (П.Флоренский) от ее возникновения в эпоху Возрождения до распада в искусстве XX столетия. Картины рассматриваются на уровне заключенных в них «исторических метафор» (Р.Барт), воспроизводящих основные пространственно-временные параметры ориентации человека в мире, его ощущения себя существующим под небом, на земле, между землей и небом, в центре мира, на его периферии, в упорядоченной, им самим созданной среде или в неуправляемом хаосе природы, в позиции господства или в позиции зависимости. Этот бессловесный язык, это молчаливое сообщение и составляет образное значимое картины.

2. Проблема жанров в живописи.

а) Портрет — и натюрморт. Параллельное развитие этих жанров, их сложная взаимосвязь, их диалог, драматическое скрещение их судеб, их постепенное взаимо-олицетворение, наконец, во второй половине XX столетия — их взаимо-растворение, когда образ человека в портрете овеществляется, а вещь в натюрморте очеловечивается. В сущности, речь в этом разделе курса идет о судьбе человека в мире вещей.

б) Интерьер — и пейзаж (мир внутри — и вне стен). Малый мир, созданный человеком для себя, защищенный, обжитой, «прирученный» им (Сент Экзюпери) — и мир большой, человеку неподвластный, противоположенный ему. Иными словами — воплощенный в живописи образ Дома и Не Дома. В лекциях прослеживается процесс возникновения интерьера в XV веке, вычленение его из средневековой пространственной безграничности, его трансформация на протяжении XVII–XIX веков и постепенное «размывание» его в живописи XX столетия («И веселое слово “дома” / Никому теперь не знакомо» — Ахматова). В конце этого века интерьер в живописи окончательно «развоплощается», и осколки его — стены, окна, наполнявшая его мебель — оказываются выброшенными наружу, в открытое пространство природы.

Аналогичную судьбу переживает жанр пейзажа. В годы Возрождения впервые возникает отстраненный взгляд на природу как «вид на» (вид издали); в XVII веке природа начинает восприниматься как среда обитания, складывается пейзаж как самостоятельный жанр; происходит интенсивное развитие его на протяжении последующих двух веков, затем, в двадцатом столетии, — постепенное вытеснение «живого», природного пейзажа — пейзажем пригородным, полу-городским, индустриальным.

Трагедия отчуждения — доминанта мироощущения человека конца XX столетия — воплотилась в живописи в отчуждении среды обитания от человека и человека от среды обитания.

3. Слово — и зримый образ в живописи от Средних веков до XX века.

В этом разделе цикла рассматриваются темы:

Жест как визуальный эквивалент слова.

Композиция как визуальный эквивалент речевого высказывания:

а) трехфигурная (трехчастная) группа с главным действующим лицом в центре, представленным в фас, как композиционная формула монолога.

б) двухфигурная (двухчастная) группа с главными действующими лицами, профильной ориентации, со смысловым интервалом между ними — как композиционная формула диалога.

в) композиционная формула корневища, «ризомы» (Делёз) — как визуальный эквивалент гула голосов («Гул всех возможных смыслов, слившихся в единый хор, где ничей голос не возвышается, не становится ведущим и не выделяется особо» — Барт).

г) зияющая пустота фона как визуальный эквивалент молчания. («Пустота белой бумаги — это почти точный эквивалент молчания <...> тотальная пустота, которая превосходит любое “сообщение” — Кабаков. «Молчесловие»).

История теории

0. Моя профессия — филолог и историк идей.

1. Выбор профессии — вероятно, из обдуманного духа противоречия. Я закончил очень хорошую московскую физико-математическую школу № 2, она дала мне ценнейший опыт точного мышления, но одновременно и убеждение, что мне не удастся достичь многого в этой сфере. Поэтому я сделал резкий разворот и, в отличие от большинства своих одноклассников, поступил не на механико-математический, а на филологический факультет МГУ (проучившись, правда, для более плавного перехода один год в «чистилище» структурной и прикладной лингвистики — которому тоже чрезвычайно многим обязан).

2. Главная перемена на интеллектуальном пути случилась в начале 90-х годов. К тому времени я уже довольно часто печатался как литературный критик, работал главным образом в литературной, а не научной, системе (в больших издательствах) и склонен был считать, что наука о литературе не слишком отличается от самой литературы. Первым событием, заставившим в этом усомниться, стало написание собственной книжки (о «Госпоже Бовари» в 1990 году — вышла она много позже), потребовавшее вписывать свою концепцию в контекст чужих исследований, вести профессиональную полемику. А в дальнейшем совпали два внешних обстоятельства: в 1992–1993 годах я почти одновременно стал работать редактором в «Новом литературном обозрении» (то был мощный стимул научной самодисциплины, научной профессионализации) и начал регулярно ездить на стажировки во Францию (это позволило вчуже, отстраненно и тем яснее увидеть, как работает хорошо отлаженный институт академического литературоведения — со всеми своими сильными и слабыми сторонами).

Это, конечно, упрощенная схема — так сказать, путь «от литературы к науке», выворачивая наизнанку формулу Ролана Барта. На самом деле мне всегда были наиболее интересны строгие, формально-семиотические течения в науке о литературе; но парадокс в том, что они сами могут пониматься как эстетическая практика, это очень заметно у таких лидеров, как Барт и Лотман. Видимо, в какой-то момент эстетическое любование ими со стороны сменилось у меня попытками ответственного следования их примеру, и сейчас я серьезнее принимаю научные «правила игры», чем пятнадцать-двадцать лет назад. Сама двойственность науки о литературе, которая с трудом отделяет себя от собственного предмета, предстала как важнейший предмет размышления — и именно потому в последние годы я все больше занимаюсь не столько историей литературы как таковой, сколько тем, что называю «историей теории», теоретической историей теоретических идей.

3. В последние годы заниматься такой историей становится все интереснее, потому что к ней обращается все больше народу в разных странах, в том числе людей более молодых, чем я, — это знак того, что тема перспективная. Отчетливо крепнет представление о том, что международная «теория» (литературы, культуры) XX века как научная парадигма пришла к своему завершению (это не значит — к «краху» или даже к окончательной «смерти»; по выражению одного из ее славных представителей, у нее вполне может быть свой праздник возрождения), а значит, самое время заняться ее историей. Мне, правда, кажется, что сегодня эта история теории часто изучается — как ни странно — нетеоретическими методами; теоретические идеи редуцируются, сводятся к философским концепциям, к социологической организации науки, к истории социально-политических идей, к истории собственно литературы и искусства, наконец к биографии самих теоретиков. Такие исследования часто бывают очень методологически просвещенными и изощренными, я не отрицаю их оправданность, но в них остается недооцененной специфика проблемы — реорганизация системы культуры в XX веке, новые соотношения между разными ее дискурсами (научным, литературным, философским, филологическо-герменевтическим). В этой области я и пытаюсь выгородить себе участок для исследований. Здесь нет чувства превосходства — я ощущаю себя не непризнанным гением, а скорее предпринимате-

лем, ищущим незанятую нишу интеллектуального рынка, целенаправленно стремлюсь найти уголок проблемного поля, менее всего затоптанный другими. Но в результате остается совсем мало прямых, непосредственных коллег, и часто поневоле приходится — и в России, и во Франции — переживать некоторую изоляцию, невписанность своих занятий в научный мейнстрим. Видимо, с этим следует мириться, это просто плата (временная?) за самостоятельный путь. Хуже, если путь окажется тупиковым или не хватит сил пройти его достаточно далеко, — тогда будет в самом деле обидно.

Это об отношениях с коллегами; что же касается непрофессионалов, то писать «популярно» я как будто умею — по крайней мере, охотно за это берусь. Видимо, это пережитки моей старой «писательской», литературно-критической ориентации.

4. В университете из философии читал только Маркса — остались в памяти немногие, но важные идеи; в дальнейшем они очень помогли в освоении современной французской философии и теории, которые на Маркса сильно опираются, хотя бы для того, чтобы от него оттолкнуться.

Философия, видимо, нужна не только «ученому-предметнику», но и вообще любому мыслящему человеку — ученому в том числе, причем нужна примерно для одного и того же, т. е. отношение к ней ученого неспецифично. Философия — это школа и практика непредметной, неспециализированной мысли (кстати, с такой точки зрения Маркс — очень «нечистый» философ), ее значение для науки — скорее эвристическое, чем методологическое. Именно сознанием такого зазора, независимости философии и науки была обусловлена попытка гуманитарных наук в XIX–XX веках выработать себе «нефилософскую» теорию, и было бы ошибочно недооценивать эту попытку, видя в ней лишь продолжение тех или иных философских концепций и течений. Традиция догматической философии в СССР приучила многих представлять дело так, будто ученый вырабатывает «сырые» идеи, а потом философия (хотя бы в лице самого ученого, обратившегося к методологической рефлексии) обобщает их и ставит на них свой методологический знак качества. Это иллюзия, все происходит ровно наоборот: философия концептуализирует интуиции, вырабатывает и предлагает идеи — а наука своевольно и тенденциозно выбирает из них те, которые ей нужны, с которыми она может практически рабо-

тять. Теории, которые создает себе наука, она создает сама, и они несводимы к философским теориям — во всяком случае сводимы к ним не в большей степени, чем, скажем, к тем или иным течениям в художественном творчестве, каковые тоже, конечно, влияют на мышление гуманитарных наук. Соответственно философия и не должна рассматриваться как одна из наук — она научна лишь по институциональным формам (факультеты, ученые степени и т. д.). Современная философия, кажется, сама все больше убеждается в своей не-научности, и в этом нет для нее ничего зазорного. Что же касается методологической рефлексии, то она, конечно, необходима ученому, без нее он может работать только в очень узком, традиционном поле рутинных исследований, фактически доверяясь *чужой* методологической рефлексии; но осуществляется она не в философских, а в научных — «теоретических» — формах.

5. Я уже говорил, что работаю на стыке двух дисциплин — истории литературы и истории идей (интеллектуальной истории). И та и другая, безусловно, научные дисциплины, критерием их научности является фактическая, историко-филологическая проверяемость утверждений. Поскольку же историко-культурный материал в принципе неисчерпаем, то положение теоретика в таких дисциплинах драматично и неудобно — одного опровергающего факта достаточно, чтобы фальсифицировать самую красивую концепцию, и автор концепции все время сидит как на иголках, в тревожном ожидании, что кто-нибудь его опровергнет. Суть споров «философов с филологами», в которых я одно время участвовал, — именно в этом, т. е. это споры не столько о философии, сколько о теории (см. предыдущий пункт). Сегодня философия, к счастью, практически не предъявляет науке методологических претензий, зато пытается соперничать с филологией на ее собственном поле, в деле интерпретации текстов; соответственно спор идет или шел о более или менее профессиональных *научных теориях* такой интерпретации.

О «смерти структурализма» см. пункт 3: это плохая метафора. Структурализм завершил свое развитие, его теория подлежит историческому изучению, а выработанные им конкретные методы и идеи — практическому применению. Разве можно говорить о «смерти» теоремы Пифагора или закона Ома? В принципе точно таков же и статус Бахтина — только Бахтина почему-то все же ин-

интереснее и эффективнее исторически изучать, чем практически применять. Почему так — интригующая, до сих пор не выясненная проблема.

Информационные технологии технически же и важны, и тем важнее, чем больше специальных ресурсов накапливается в их сфере. Именно *специальных*: интернет в целом сильно напоминает, по крылатому выражению, глобальную информационную помойку, зато персональный компьютер, по мере того как в него вводишь все больше текстов (своих, чужих) и прочих данных, начинает очень эффективно работать как компактная персональная рабочая библиотека — когда нужно найти какой-нибудь факт, цитату и т. д., все чаще начинаешь искать их не в книгах, а на собственном жестком диске. В промежутке между этими полюсами располагаются специализированные научные сайты, сетевой доступ к библиотекам и, разумеется, бесценная электронная почта (ее ценность не только научная, но и общежитейская).

Идеологические факторы в гуманитарных науках действовали и действуют — если не в форме государственного принуждения, то в форме интеллектуальной моды, которая не менее сильно влияет на работу и организацию научных институтов, распределение материальных средств, формирование репутаций и т. д. Типичным порождением новейшей идеологизации гуманитарных наук является, в частности, «постмодернизм» как особая отрасль исследований. Это не смена критериев научности — это просто новая форма идеологизированной науки; в сегодняшней России она идет рука об руку с «наукой» национально или религиозно ангажированной. Для вменяемого ученого это не самое приятное соседство, но оно, видимо, неизбежно, и ничего кризисного в этом нет.

7. Что хотелось бы успеть в жизни — обзавестись жильем... Я имею в виду, что такие долгосрочные проекты (в формулировке вопроса неявно предполагается, что «жизнь» — это надолго, хотя на самом деле кто же знает?) можно строить именно в бытовой, неинтеллектуальной жизни, а исследовательскую работу удастся планировать в лучшем случае на два-три года вперед, да и то велика вероятность, что за эти годы проект успеет несколько раз измениться и в итоге получится нечто совсем непредвиденное. Вообще-то тем оно и интересно.

Наука и удивление

Под словом «профессия» можно понимать разное: например, профессия как установившийся, определенным образом сложившийся «узнаваемый» род деятельности. Это, так сказать, профессия, увиденная со стороны, извне — нечто такое, что существует до тебя, вне тебя. Это то, к чему ты присоединяешься, чтобы сказать: «я — историк» или «я — физик».

Однако возможны и движения изнутри себя: профессия — как то, что возникло в тебе, согласно твоим личным особенностям, складу ума, типу смыслополагания. Два человека, занимающиеся одним и тем же делом, могут настолько отличаться друг от друга по своему складу, взглядам, подходам, что их трудно будет назвать людьми одной и той же профессии. В последние годы в титрах, обозначающих профессию выступающего по телевизору публициста, критика, филолога или драматурга (а прежде они так себя официально и представляли), все чаще стало появляться слово «литератор». Нечто общее, размытое, объемлющее собой все, что связано с литературой. Думаю, что те, кто прибег к этому слову, ощущают некоторые трудности в самоназвании: каким-то особым личным словом свою профессию не назовешь, «филолог» или «критик» почему-то не устраивает, остается это — старинное, но осмысленное заново — «литератор»...

В моем случае тоже есть проблема. Я не ощущаю себя вполне ни «философом» (хотя именно это слово стоит в моем дипломе), ни литературоведом, хотя большая часть написанного мной посвящена литературе. Может быть, это «философия литературы», «философия текста», «глубинный анализ текста» или «герменевтика» в широком смысле этого слова. В прежние годы я иногда представлялся как «писатель по философии». Это архаическое словосочетание, конечно, не идеально, но оно ухватывает и близкое мне писательство, и философию.

О выборе пути. То, чем я занимаюсь последние полтора десятка лет, естественным образом (а иначе, в общем-то, и не бывает) выросло из того набора смыслов, которым жил в предыдущие годы. В детстве я думал, что стану археологом-первобытником, и думал так не без оснований, поскольку еще школьником стал членом детского археологического общества при Государственном историческом музее, ездил в археологические экспедиции, был знаком со многими археологами, среди которых были и касимовский краевед И.А.Китайцев, и такая легендарная личность, как профессор О.Н.Бадер.

В те же самые детские годы я полагал, что стану художником, и опять-таки не без основания, поскольку с первого по десятый класс ходил в художественную школу, где пять лет проучился по классу живописи и пять лет по классу графики. И все же ни археологом, ни профессиональным художником я не стал. Интерес к написанию букв пересилил интерес к рисованию картинок. Раскопки смыслов оказались столь же увлекательными, как раскопки первобытного поселения. Поступив на философский факультет МГУ, я изучал теорию искусства, эстетику, мифологию, чтобы всерьез заняться проблемами первобытного искусства — делом, которое могло органически соединить мой интерес к искусству с археологией. Однако вышло не совсем так, как я предполагал: студент, который в конце семидесятых заинтересовался мифологией, не мог пройти мимо трудов К.Леви-Строса, а тот, кто познакомился с этими трудами, почти автоматически попадал в ряды структуралистов. Так оно и произошло. Я занялся теорией лингвистики, бинарными системами, фонологией, семиотикой. Круг чтения на то время составил такой: О.М.Фрейденберг, Л.Выготский, Р.Якобсон, В.Пропп, Ж.Пиаже, Ю.Лотман, Я.Мукаржовский, Е.Мелетинский, В.Топоров.

Об изменениях. После окончания аспирантуры МГУ я оказался в редакции журнала «Вопросы философии», где проработал пять лет в качестве научного консультанта — вплоть до апреля 1992 года, т. е. до момента образования Института высших гуманитарных исследований, куда меня и пригласил Е.М.Мелетинский. В те годы меня занимала проблема смеха, и постепенно из ряда статей на эту тему сложилась книга «Философия смеха», которая вышла в издательстве РГГУ в 1996 году. Собственно, все началось с мысли о том, что подлинной антитезой смеха является не плач (традиционная пара «трагическое—комическое»), а стыд. Если бы

не эта гипотеза, то моя книга о смехе вряд ли бы написалась. Это ее исходный смысл, центральный тезис, вокруг которого накрутилось все остальное.

В это же время, в самом начале девяностых годов, в том, что я делал, все больше и больше стали появляться элементы той интеллектуальной стратегии, которую я назвал «онтологической поэтикой» или «иноформным анализом текста». В книге «Философия смеха» (работе по сути своей синтетической) следы этой стратегии легко угадываются в главах, посвященных сочинениям Ф.Ницше, А.Платонова, У.Эко и мифологии смеха. Тогда же, в 1995 году, в РГГУ вышла моя книжка «Онтологический взгляд на русскую литературу», где иноформный анализ текста стал ведущим принципом работы с литературной классикой.

Если говорить об изменениях в стиле работы, то названный онтологический интерес к тексту и был этим реальным изменением. Поначалу я над этим почти не задумывался. Все вышло как-то само собой, и мне казалось, что я занимаюсь тем же самым, чем и прежде. Однако то, к чему я стал приходить по ходу дела, некая, скажем, нетрадиционность трактовок, прочтений всем хорошо известных текстов подвинула меня на размышления по поводу тех путей, которыми она достигались. Я стал анализировать сами исследовательские процедуры и вскоре понял, что в этом безумии, как сказал бы Полоний, есть своя система. Выбор текстов — наиболее знаменитые, хрестоматийные, прославленные. Затем, внутри текста, — выбор эмблем, т. е. наиболее известных сцен, фраз, деталей, звуков («Быть или не быть», «Чума на оба ваших дома», «Какие красивые деревья...», всадник, скачущий с копьём к мельницам, утерянный платок, студент с топором, звук лопнувшей струны и т. д.). Затем — сопоставление эмблем между собой. Поиск общих черт в нескольких внешне не похожих друг на друга фразах или сценах. И, наконец, когда эти общие черты найдены, попытка определить то, что можно назвать «исходным смыслом» данного текста.

Так воссоздается онтологическая основа сюжета; текст, увиденный подобным образом, оказывается как бы прошнурованным некоей темой, чувством или мыслью, которые нельзя свести ни к «основной идее» сочинения, ни к его «краткому содержанию». Исходный смысл текста (в «Гамлете», например, это тема спора зрения и слуха; «быть или не быть», понятое, как «слушать или смотреть») разворачивается в цепочку иноформ, т. е., в цепочку эмблем, в кото-

рых по-разному представлена в принципе одна и та же исходная тема. Это поиск того, что не сводится ни к так называемому «содержанию» текста, ни к его «форме». Это не про «что» и не про «как», а про то, «с помощью чего» осуществляются в тексте и «что» и «как». Главная особенность подобного рода чтения-анализа в том, чтобы постараться уловить в тексте то, о чем в нем напрямую не написано, однако тем не менее присутствует, организуя изнутри видимый сюжет и его символическое оформление. Чтение нечитаемого или не вполне читаемого. Например, у Шекспира в «Ромео и Джульетте» в качестве исходного смысла выступает соединение символов розы и чумы, а в «Отелло» — тема взаимозамены черного и белого. В «Фаусте» Гёте — это тема попеременного движения по пространственно-смысловой вертикали. В новеллах Э.По — мотив подвешенной смерти. Для Толстого чрезвычайно важна тема напряженного бездействия перед лицом надвигающейся внешней силы, для Чехова — тема замкнутого объема (футиляра), для Платонова — противостояние вещества и пустоты, находящее свое разрешение в субстанции воды и т. д. О технике анализа художественного текста я подробно писал в книге «Вещество литературы» (М., 2001) и работе «Онтология и поэтика» («Вопросы философии», 1996, № 7). Теперь же ограничусь этой краткой справкой, не забыв сообщить о том, что означенная технология срабатывает достаточно часто для того, чтобы отмахнуться от нее, как от чего-то маргинального и случайного.

Об обществе и сообществе. Полагаю, что те изменения, которые произошли в моем способе мыслить и работать, неслучайны и связаны с общими процессами сегодняшнего гуманитарного знания. В последнее десятилетие многие философы и литературоведы высказывали соображения по поводу того, что традиционные методы исследования текста не то чтобы исчерпали себя, но, во всяком случае, нуждаются в дополнениях. Отсюда тот интерес, который привлекают к себе междисциплинарные исследования, новые способы изучения хорошо знакомого материала. Тенденция к расширению теоретического поля гуманитарной науки — общая: другое дело, что каждый понимает это по-своему и идет своим собственным путем.

Связать свой стиль работы с каким-то конкретным направлением или школой в науке (если, конечно, не прибегать к таким необъятным словам, как «герменевтика» или «симвология») я не могу.

Мнение коллег (критика или одобрение) помогало мне яснее осознать то, насколько далеко я ушел в своих теоретических построениях: «далеко» не обязательно в смысле вперед, но, может быть, назад или в сторону. Что касается того, насколько адекватно научное сообщество оценивает мои усилия, то здесь ситуация достаточно напряженная. Определенно могу сказать, что нейтрального отношения нет. Собственно оценки резко разнятся, и это при том, что одобрение или критика исходят от людей в равной мере компетентных и талантливых. Нередко бывают и такие ситуации, когда читателя или собеседника убеждает результат моего исследования, но вызывает сомнение то, каким образом этот результат был получен: положение парадоксальное, поскольку в нем заложено противоречие, изъяснить которое я не в силах. Если понимать под оценкой сообщества частоту ссылок на твои работы, то меня этот уровень удовлетворяет, хотя гораздо чаще я сталкиваюсь с цитированием скрытым. Подчас речь даже идет о заимствовании не мыслей как таковых, а самого стиля мышления, способа обращения с материалом. Меня подобные вещи не очень беспокоят, поскольку и к чужим, и к собственным текстам я отношусь достаточно критично, осознавая их «преходящий» характер. Все мы движемся вместе, делаем какие-то усилия, и если когда-нибудь результат будет достигнут, то не столь уж важно, кто и что у кого позаимствовал.

Как правило, в спорах убедить тех людей, кто думает иначе, мне не удается, однако думаю, что сам спор, способы доказательства своей правоты оставляют в собеседнике какой-то след (то же самое могу отнести и к себе самому). Наиболее характерный случай такого рода — обсуждение моего доклада «Масло на Патриарших», происходившее несколько лет назад в нашем институте. В этом небольшом сочинении я попытался показать, что тема масла обнаруживает себя в самых важных точках булгаковского романа, особым образом поддерживая его идеологию и сказываясь в устройстве многих сцен и символических деталей. Оценки были самые разные, однако общий интерес к сказанному присутствовал. Как заметил в конце обсуждения В.Н.Топоров, согласны собравшиеся с высказанной точкой зрения или не согласны, но отмахнуться от этого «масла» они уже не смогут.

Об отношении к философии. В моем случае вышло так, что философия и есть мое профессиональное дело. Хотя по боль-

шей части я пишу о внутреннем устройстве литературного сюжета, об онтологической основе текста, исходное удивление перед фактом явленности, наличествования текста и мира во мне присутствует постоянно. А это, собственно, и есть то удивление, которое, по слову Аристотеля, лежит в основе философствования как такового. Удивившись тому, что текст существует, удивляешься тому, как он устроен, начинаешь разбирать его на составные части, искать его стержень; так само собой исходное онтологическое чувство перерастает в техники анализа и способы доказательства.

Что касается вопроса о том, нужна ли философия ученым, работающим с конкретным филологическим или историческим материалом, то, думаю, любой из двух противоположных ответов окажется верным. Те, кто изучая нечто отдельное, конкретное, специфическое, стремятся увидеть в нем черты чего-то более общего, причинного, сами тянутся к философской литературе, сами пытаются обосновать свои методы, исходя из более общих теоретических посылок. Тем же, кто начинают с факта и им же заканчивают, философия не нужна, поскольку не востребована умом чуждым или просто неспособным к обобщению и фантазии. Вообще очень часто приходится сталкиваться с определенного рода научной ограниченностью и глухотой. Многие весьма уютно чувствуют себя в том условном мире, который называется «наукой». Тут все понятно, привычно — конференции, доклады, статьи, сноски, защиты, рецензии и пр. Но ведь на самом деле все гораздо сложнее и таинственней. Есть мир, который непостижимым образом оказывается постижимым. Есть тайна, масштабы которой становятся все грандиознее, чем ближе к основаниям любой из научных дисциплин мы подходим, и где не спрятаться ни за научные звания, ни за собрания сочинений. Что такое мир, что такое вещество, что такое время, что такое пространство, что такое жизнь, что такое психика, что такое сознание? Человеку науки, как, впрочем, и каждому человеку нельзя терять ощущения тайны мира и удивления перед тем, что было и что будет. Необходимо онтологическое напряжение, без которого человек теряет перспективу и самого себя.

Если же говорить о самой философии, то она как была со времен Сократа и Платона размышлением о том, что есть человек, мир, благо, свобода, смерть, истина, так и остается таковой по сей день. Меняются термины, однако проблемы, которые стоят перед смертным и взыскующим истины человеком, все те же. Уровень

смысловой напряженности тот же: Платон и Делёз, если бы им довелось встретиться, поняли бы друг друга.

Наука, как я думаю, едина, несмотря на то что традиционно разделена на две области — естественную и гуманитарную, или иначе, науки о природе и культуре. Главное различие между ними в том, что объектом гуманитарного знания выступают не только факты, но и смыслы, стоящие за ними, т. е. человек, несчитываемый субъект. В остальном же операции анализа, доказательства в знании гуманитарном и естественнонаучном принципиально друг от друга не отличаются.

Что касается критерия научности в науке и особенно в науке гуманитарной, то к общеизвестным требованиям логичности, доказательности, проверяемости, воспроизводимости результатов я добавил бы еще качество интересности. Если книга отвечает общим критериям научности, но при этом читать ее невыносимо скучно, то, скорее всего, мы имеем дело не с реальным новым знанием (а иным оно и не может быть), а с симуляцией или пустым повтором общеизвестного.

Еще об интересности как о спутнике научности. Если текст вызывает у вас интерес, это значит, что в нем есть новые смыслы, которые, собственно, и привлекают к себе повышенное внимание. Новые — не обязательно истинные, однако сам факт того, что в поле нормальной, регулярной науки возникает смысловое, концептуальное напряжение, означает, что она оживает, критически общается с собой, пытаясь или восстановить предыдущую «гармонию», или пересмотреть что-то в своем сегодняшнем состоянии.

Само собой интересность, добытая любой ценой, не нужна. Необходимы мера и искренность исследователя, удивившегося интересному ходу собственной мысли и поделившегося этой мыслью с другими. Необходимо твое личное ощущение, что предлагаемая концепция органична, логична, что она несет в себе возможность приблизиться к пониманию того, что ты не понимал ранее. Я не призываю всех непременно стремиться именно к такому подходу. Каждый выбирает свое. Тем более, что регулярная критическая работа научной мысли так же необходима, как и концептуальная свобода. В конечном счете движение знания предполагает и то и другое. Кто-то насыпает холмики, кто-то их разравнивает, и в результате этих разнонаправленных усилий неуклонно растет общая высота горы.

О спорах филологов и философов: думаю, что противопоставление строгости (подчас скучности) филологических трактовок текста и вольности философов, которые предлагают свои трактовки, малопродуктивно. Здесь, скорее, сталкиваются не научные, а корпоративные или цеховые интересы. Проблемы нет потому, что и те и другие не дают (и не могут дать) окончательного продукта, т. е. истины в ее чистом виде. Все в движении, взаимодействии и отталкивании, все это еще только приготовления к тому, что будет в будущем.

О роли новых технологий. В интернет я заглядываю редко, постоянно же пользуюсь только электронной почтой. В целом же компьютер для меня — удобная пишущая машинка, на которой можно напечатать то, что прежде было написано рукой. И дело здесь не в неспособности отказаться от старой привычки, но в чем-то другом. Я и прежде, когда не было компьютеров, а были только машинки, сначала писал и переписывал текст от руки. Когда пишешь рукой, это одно, когда стучишь пальцами по клавиатуре — другое. У Выготского, кажется, было такое словосочетание: «мышление правой руки». Когда текст сочиняется сразу на компьютере, возникает ситуация, в которой я начинаю чувствовать, что пишу не совсем то, что хочу. На экране видишь не более половины страницы, а все, что было написано до этого, уходит куда-то назад, в тайную глубь, в итоге — мыслишь очень небольшим куском текста. Исправления на экране, замены слов, предложений или целых абзацев проходят так чисто и гладко, что каждый раз убеждают тебя в правильности сделанного, и это коварным образом влияет на сам ход мысли. Иначе говоря, когда пишешь на компьютере, то пишешь не один, не сам от себя, а вместе с этим электронным существом, которое нередко исподволь навязывает тебе свои решения.

Умер ли структурализм? Не умер в том смысле, что его опыт и техники оказались вплетенными в последовавший за ним период развития гуманитарной мысли. Можно это признавать, можно нет, но более мощного и продуктивного импульса в гуманитарной мысли двадцатого века не было. То же самое можно сказать о Бахтине, кстати, давшем высокие оценки структурализму. Для России в двадцатом веке это наиболее значимая фигура, и, возможно, останется таковой еще надолго, независимо от того, каким будет профиль нашей гуманитарной науки через двадцать или сорок лет.

Привить древо познания к древу жизни

[Ответ на вопросы 0, 1 и 2].

Название профессии определяется в соответствии с традиционной, восходящей еще к Канту, классификацией наук. Моя профессия — историк. Это традиционное наименование, однако в зависимости от времени, условий и личности наполняется особым содержанием. История, в которой вижу свою профессию я, есть процесс, подлежащий прочтению на уровне повседневности, быта, привычек, моды, идентификационных тяготений и межличностных отношений. Короче — это та история, которую сейчас принято называть культурно-антропологической или семиотикой культуры, которую наши соседи в науке называли феноменологической социологией, а отцы и деды, слегка свысока, — *histoire romancée*, удел, как они считали, чудаков, диссидентов в науке и полубеллетристов от Буассье до Карсавина.

Вопрос о том, что определяет выбор именно так понятой, а не иной профессии, что меняет наши ориентиры в ней и определяет эволюцию лично моей научной деятельности, предполагает три ответа.

Первый — судьба, происхождение и подсознание. Я рос в Москве, в приарбатских переулках, еще наполовину заселенных старым дворянством, больше чем наполовину застроенных еще особняками от позднего ампира до раннего модерна, и где атмосферу составляло взаимодействие и столкновение этого уклада жизни, старого и изживаемого, с иным, активно наступавшим, обращенным не в прошлое, а — как полагал он сам — в будущее. На языке времени он назывался рабоче-крестьянским, советским, комсомольским, социалистическим. Взаимодействие их с изживаемым укладом существования бесспорно было содержанием «большой истории», классовой, социально-политической, идеологической, но непосредственно представало оно как встречные и в то же время единые в своей противоречивости сдвиги в повседневности, в манерах, речи, в одежде и интерьерах. Как сказал поэт, «и это всё в меня запало и лишь потом

во мне очнулось», очнулось в виде переживания истории как быта и движения его форм. В старших классах школы я рисовал девчонкам по их просьбе эскизы платьев и причесок, стараясь уловить в них «современную линию». Наверное, отсюда могла выплыть уже в восьмидесятых годах тема «Римские прически от Агриппины Младшей до Юлии Домны», которую я, руководя семинаром по древнеримскому быту, дал одной очень молодой и очень талантливой девушке-историку и которая сумела прочесть в этих прическах четкие отсветы «большой истории» — от распада римской *civitas* до формирования раннего христианства.

Второй ответ связан с объективной эволюцией исторической науки начиная с шестидесятых годов минувшего века. В первой половине XX столетия в соответствии с духом времени наука эта была сосредоточена на обнаружении и теоретическом осмыслении общих закономерностей общественно-исторического развития. Все непосредственно человеческое, индивидуальное и своеобразное, частное и повседневное оставалось, как говорят кинооператоры, «в нефокусе». Перелом наступил в знаменитые шестидесятые годы. Стало ослепительно и удручающе ясно, что тотальные схемы мирового развития и подчинение живой, отдельной, конкретной человеческой жизни построению светлого будущего, столь увлекавшие отцов и дедов, в реальности принесли лишь мировые и гражданские войны, пятьдесят миллионов трупов и географию концлагерей от Колымы до Маутхаузена. В науке они чаще всего способствовали перекомпоновке давным-давно известных данных источников по классовым, социально-политическим и идеологическим конфликтам «от неолита до Главлита». Шестидесятые годы, как самостоятельная культурная эпоха, длились примерно с 1956-го до 1970 года. Именно тогда-то в науку пришли бородатые аспиранты в джинсах и залатанных свитерах, ходившие в пешие походы, где они у костров пели полузапрещенные песни Окуджавы и слушали начисто запрещенных Битлз, и которые — и это самое главное — увидели во всей этой бытовой фактуре и в порожденном ею мироощущении гораздо более адекватное отражение реальных исторических процессов, нежели в парламентских обсуждениях, военных конфликтах и в политических интригах.

Доценты и профессора из более чутких стали к аспирантам прислушиваться и вдруг — услышали нарастающий гул *current history*. Парижские «*Annales de l'histoire économique et sociale*» об-

новились и стали бестселлером. Вдохновленный ими Гуревич сказал, что он устал исследовать историю навоза и опубликовал свои манифестные «Категории средневековой культуры». В Соединенных Штатах ученики Альфреда Шутца издали недописанную им книгу «The Problem of Social Reality», в которой он переплавил в социологию повседневности созданное его учителем Гуссерлем понятие *Lebenswelt*. Юные Аверинцев и Гаспаров называли риторикой язык, который веками, паря над просторечной повседневностью, говорил от лица Высокой культуры, и тем прояснили культурно-лингвистическую речь, на которой эта повседневность изъяснялась. В Париже хартией *de la nouvelle histoire* становились статьи и книги Барта, а в Москве шел в том же направлении талантливейший В.Кобрин — рано умерший, но успевший сказать: «Одна из горячих точек современной исторической науки связана с социально-психологическим прочтением исторического процесса».

Все это и стало исподволь превращать меня *avant la lettre* в историка культуры повседневности.

Третий ответ касается того, насколько я способствовал подобному самопревращению своими личными усилиями. На протяжении пятидесятых и первой половины шестидесятых годов я усиленно занимался языкознанием, сначала описательным, потом сравнительным индоевропейским. Вскоре я стал замечать, что интересы мои в этой области все больше смещались от сравнительной грамматики в сторону той мало кого привлекавшей тогда в России дисциплины, которой положил начало австрийский ученый Отто Шрадер и которую он назвал *indogermanische Altertumskunde*. Суть и цель ее состояла в том, чтобы путем сравнения лексики реальных индоевропейских языков воссоздать тот круг терминов в языке-основе, который очерчивал хозяйственный, общественный и домашний быт индоевропейцев. Однако двигаться дальше в этом излюбленном мной повседневно-бытовом направлении не получалось. Отчасти сказалась недостаточная лингвистическая подготовка (тех 7–8 языков, с которыми я к тому времени мог работать, было явно мало), отчасти разочаровывала невозможность увидеть и пощупать те бытовые предметы, названия которых удавалось сравнительно-лингвистическим путем восстановить. Они оставались вещами-призраками, да и весь «быт индоевропейцев» был поразительно не фактурным, а потому непривлекательным. Для удовлетворения сложившегося интереса гораздо

больше подходили два других научных направления — культурно-историческое изучение антично-римского мира и только-только начинавшаяся складываться семиотика культуры.

В 1952 году мне в руки случайно попал томик Тацита (11–13 книги «Анналов») в панкуковском издании с латинским текстом *en regard*. Раскрывшийся мне здесь диалектический — именно диалектический, а не релятивистский, — взгляд на историю произвел на меня грандиозное впечатление, остался мне свойственным, надеюсь, навсегда, и я стал читать Тацита по-латыни постоянно. Соответственно, я стал писать кандидатскую диссертацию, посвященную одному грамматическому явлению в латинском языке (особенно ясно выраженному у Тацита) и в 1955 году защитил ее. В 1964 году издательство Академии наук (впоследствии «Наука») заключило со мной договор на перевод «Истории» Тацита и издало его в 1969 году с большим, мной же составленным комментарием. Впоследствии перевод неоднократно переиздавался. В 1970-е годы я опубликовал по Тациту ряд статей. Они составили основу книжки «Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги», изданной там же в 1981-м, и завершились защитой докторской диссертации в 1983-м.

Не надо забывать, что все эти научные подвиги совершались в ранее описанной атмосфере. Загадочное было время. Власти преследовали всё — православную церковь, рок-музыку, несанкционированные встречи с иностранцами. Но, странным образом, редко что доводило до конца — посещение церкви и крещение ребенка властями учитывались, но радикальные выводы не делались; рок-концерты нередко кончались в милиции, но происходили почти в каждой школе; «потусторонние связи» приводили людей в тюрьму, но с 1971 года эмиграция, официально осуждаемая, тем не менее начиналась и усиливалась. То же было с исторической наукой. Она изучалась и преподавалась на основе высказываний классиков марксизма в своей официально одобряемой проблематике — классовой, социально-экономической, административно-политической, идеологической. Культура повседневности как направление научного исследования явно не приветствовалась, но тем не менее стремительно развивалась. После книги о Таците мои занятия Древним Римом всё больше ориентировались на малые города империи, на их быт и повседневную жизнь, а постепенно выходили за эти пределы в повседневность других эпох и регионов, в теорию культуры повседневности. Из всех периодических

изданий ближе всего к этой проблематике был в ту пору журнал «Декоративное искусство СССР», где я и напечатал некоторые статьи — об уличной тесноте в Риме, о семиотике бытовых вещей и, наконец, в 1984 году сдал в издательство «Искусство» книгу «Древний Рим. — История и повседневность». Судьба ее показательна: в 1984-м и даже еще в 1985-м она вызвала частичные возражения редактора и осудительные реакции на редакционном совете; в 1986-м она вышла в свет и была признана по данному издательству лучшей книгой года. Горбачевская перестройка шла вширь и вглубь и распространялась на сферы, казалось бы, никакого отношения к ней не имевшие, в частности, на культурно-антропологическое прочтение исторического процесса. Следующая книга, мной собранная и отредактированная, называлась «Быт и история в античности». Она была издана в 1988 году и прошла совершенно гладко. В моих «Материалах к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима» (1993) раздел о римском быте был расширен, а в теоретический отдел оказались введены несколько новых статей по общей теории семиотики повседневности.

Все эти наблюдения, все мысли и выводы в течение долгих лет оставались где-то между мной, редактором государственного издательства, печатным станком и читателем — существом, как всегда загадочным и почти не проявлявшимся. Дело в том, что с конца сороковых годов начиная я оставил попытки проникнуть в официальную науку и занять официальное положение научного работника, призванного высоко нести знамя передовой марксистско-ленинской мысли. Я не сомневался (как не сомневаюсь и сейчас), что Карл Маркс — одна из ключевых фигур в культурном самосознании XIX столетия. Игнорирование его мысли о том, что жизнь вне самовоспроизводства и повседневного труда, его обеспечивающего, закрывало и закрывает путь к проникновению в историческую реальность, материальную и духовную. Постоянные ссылки на его суждения были для меня не столько ритуальным пропуском в подцензурные журналы и издания, сколько убедительным аргументом и данью моим прекрасным ифлийским учителям. Но одно дело было по стопам Маркса (а как нас учили в ИФЛИ, — и Гегеля) искать истину, и совсем другое — корректировать ее по последним указаниям партии и правительства. Лавировать между тем и другим было, с одной стороны, «доходно оно и прелестно», с другой — опасно и противно. С октября 1946 года я стал препода-

давать иностранные языки — английский, французский и латинский — на второстепенных кафедрах второстепенных вузов и занимался этим в общем весьма симпатичным ремеслом ровно сорок лет, до июля 1986-го. Сравнительное языкознание, античность и культура повседневности шли своим чередом в виде некоего *hobby*, не принося ни денег, ни лавров, но и не подвергая меня проработкам на заседаниях кафедр и Ученых советов.

С 1998 года я вхожу в Специализированный совет по присвоению ученых степеней и званий в Институте культурологии Министерства культуры РФ. Большинство диссертаций связано с проблемами массово тиражируемых видов искусства, организации и семиотики материально-пространственной среды, стереотипов личного и общественного поведения, быта, моды. Принимаются они как должное, естественность и правомерность такой науки ни у кого не вызывают ни малейшего сомнения. Что ж, думаю я, слушая отзывы оппонентов и опуская бюллетень в урну, мы свое дело сделали.

[Ответ на вопросы 3, 4 и 5]

«Там ходит он по краю бездны и рвет укроп. Ужасное занятие!», — говорит в «Короле Лире» Шекспира Эдгар слепому Глостеру, живописуя его воображению сцену, исполненную придуманного реализма. Когда в весело бунтарской атмосфере шестидесятых годов молодые историки увлеченно начали перестраивать историческую науку с категориального лада на повседневно-антропологический, они, как постепенно выяснялось, действительно «рвали укроп» и плохо представляли себе ту бездну, по краю которой ходили. Стоило, однако, новому взгляду утвердиться, стоило гуманитариям новой формации погрузиться в историю, полную людей, быта, случайностей и личных пристрастий, субъективных увлечений и массовых мифов, стоило внести в нее вместо объективной и проверяемой истины индивидуальный опыт свой и своего времени, как бездна начала исподволь раскрываться, а культурно-антропологический подход — грозить обратиться в подлинно «ужасное занятие».

Ключевым здесь оказалось слово «истина». На истину может претендовать только суждение проверяемое, доказуемое, логически прозрачное и потому очевидное для каждого. Оно существует в сфере объективности и логики, не замутнено субъективными эмоциями и пристрастиями, т. е. достижимо на путях науки, ибо толь-

ко наука из всех видов познания обеспечивает результат объективно значимый и верифицируемый. Культура повседневности и аура, ее окружавшая, порождала сомнение в науке как методе проникновения во внутренние механизмы исторического переживания. Ужас и бездна состояли в дискредитации науки. Если деятельность научного работника (давайте здесь и далее пользоваться этим советизмом: он гораздо скромнее, чем принятое теперь слово «ученый», а потому и точнее) переориентируется на проникновение в «живую жизнь», в «жизнь, как она есть», в ее повседневное течение, определяющее повседневное поведение не столько на сознательном, сколько на подсознательном, а значит, и органически субъективном уровне, если для выполнения этой задачи непригодно и противопоказано отчужденное рассмотрение исторической жизни сквозь призму обнаруживаемой логики истории, упорядочивающих категорий и обобщений, а пригодно и показано вживание в материал, основанное на пережитом опыте самого исследователя, то тот вид интеллектуальной деятельности, который последние триста лет назывался наукой, становится избыточным. Профессор РГГУ А.Л.Юрганов совершенно точно назвал это состояние «после науки».

Но отказаться от науки нельзя. Она единственный путь к доказуемой и потому внятной окружающим истине — основе договоренности и взаимодействия, т. е. к пониманию истории в ее объективности, очевидной мне и всем другим. Но нельзя, как мы убедились (по крайней мере, я убедился), отказаться и от субъективного переживания повседневной реальности. Оно — единственный путь к тому, чтобы понять исторического человека и его внутренний мир, понять живую реальность истории на уровне сегодняшних требований той же науки.

Завязавшееся здесь противоречие между обобщенным научным знанием о мире и неповторимо личным переживанием этого мира имманентно познанию и вечно. Но в наши дни оно обрело размах и остроту, ранее неведомые, и пронизало окружающую цивилизацию. Оно окрашивает не только нашу науку, но и всю нашу жизнь с ее атмосферой. Предложенная нам анкета предполагает рассказ о том, как постепенно осознавалось *мною* это коренное противоречие, как я реагировал и реагирую на сегодняшний его контекст и как влияет вырисовывающийся здесь ответ на *мою* профессиональную деятельность.

В начале девяностых годов А.Я.Гуревич и Ю.Л.Бессмертный начали издание сборников «Одиссей». Задача их состояла в освещении методологических проблем современной исторической науки. Вполне естественно, что намеченное выше противоречие между ее предметом — познанием исторической жизни в ее зыбкой и многообразной антропологической реальности — и ее методом, призванным сохранить собственно научный статус строгой объективности и категориального знания, встало в центр обсуждаемых проблем. В одном из первых выпусков (1993) я напечатал статью, которая называлась «Об одной апории общественно-исторического познания». Древнегреческое слово *апория* — «трудность; затруднение, из которого не видно выхода; недоумение» — показалось мне и кажется до сих пор наиболее точно характеризующим описанное противоречие. К проблеме апории с тех пор приходится возвращаться неоднократно; в последний раз в статье «Строгость науки и безбрежность жизни» (Вопросы философии, 2001, № 8). Слово привилось, замелькало в научной периодике, для меня же самого (как раскрывается при ретроспективном взгляде) стало во многом словом-эмблемой, ключевым в моих научных занятиях. Остаться историком, верным своему долгу, предполагает сегодня: ощутить исторического человека во всей полноте его субъективного внутреннего мира и представить результаты в виде внятного и доказуемого, объективно верного диагноза. Совместить то и другое невозможно, но столь же невозможно сойти с этого пути.

Оглядываясь назад и окрест себя, я вскоре убедился, что проблема эта давно встала в центр теории и практики гуманитарного знания. Понятие «жизненного мира», *Lebenswelt*, предложенного Гуссерлем в последний период его деятельности, с конца двадцатых и до середины тридцатых годов, на первых порах долго не могло найти себе отражения в практике гуманитарных исследований, другими словами — не могло найти выход за пределы апории. Гуссерль много работал над созданием еще одной редакции своей феноменологии, способной включить «жизнь» (или хотя бы «Жизнь») в русло феноменологической философии как строгой науки. Для его младшего современника Витгенштейна всё это было настолько очевидно, что он и не старался преодолеть апорию в рамках теоретической философии. Он просто вынес проблематику жизни, социальности и поведения в своего рода примечания, тем самым отдав им дань в своем научном наследии, но не впуслав их в сущностное ядро своей философии. Впоследствии эти «примечания» были изданы в виде афоризмов,

составивших самостоятельную публикацию: Витгенштейн Л. Культура и ценность.

Сопоставлению обеих установок я посвятил доклад на русско-австрийской конференции по Витгенштейну в РГГУ в 1997 году, впоследствии опубликованный в «Вопросах философии» (1998, № 5). Здесь-то и пришлось признать *en toutes lettres*, что в данном случае оба мыслителя столкнулись с проблемой взаимной нерасторжимости и взаимной несводимости науки и жизни, культуры и экзистенции — проблемой вечной, но в наши дни предельно обострившейся. Я погрузился в чтение книг тех авторов, где это обострение выступало в виде поисков *решения* указанной проблемы и где были найдены *границы возможного* ее решения — Бахтина, Габриэля Марселя, Гадамера. Статья последнего, *explicite* посвященная данному вопросу, называлась «Что есть ИСТИНА?». Вот тут-то и оказалась зарыта та самая собака. Для всех перечисленных авторов любое решение было соотнесено с понятием истины, с возможностью пусть самого отдаленного ее обнаружения. Они жили, формировались и мыслили в эпоху, когда это двуликое понятие, в котором соединялись личное сознание и объективный смысл выводов, им найденных, существовало. В 1970-е годы эта эпоха кончилась. Наступило то, что получило название постмодерна, в более частных формах — гиперлиберализма, а иногда и политкорректности. Истина существовать перестала — либо застывшая в авторитарной догме, монополизированной религиозно-национальным фундаментализмом, либо блуждая в бесконечной субъективности и растворенная в хаотическом равенстве всего и вся, либо в ориентированной на выгоду и ловко выстроенной диалектике того и другого.

Понять все это было необходимо. Ради этой необходимости я написал работу «Местоимения постмодерна»¹. Ей предпослан эпиграф из «Меден» трагически гэдээровской писательницы Кристи Вольф: «Спротивляться движению времени бессмысленно. Важно понять, куда оно движется». Этим я с тех пор и занимаюсь — 11 публикаций в 1999 году, 14 — в 2000-м, 6 — в 2001, 10 — в 2002, 9 — в 2003-м. На уровне доступной истины важно понять не только, «куда оно движется», но и куда оно так долго двигалось, чтобы начать двигаться туда, куда движется.

¹ Кнабе Г.С. Местоимения постмодерна. М., 2004. 52 с. (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 40).

Динамика житнетворчества:
константы — доминанты — тенденции

о. Как Вы определяете для себя Вашу профессию? Написанное в моем университетском дипломе «филолог-германист» вполне точно отражает то, чем я занимаюсь. Из многих филологических дисциплин мне наиболее близки историческая поэтика, лингвистика текста, стилистика. Интереснее всего для меня писать о раннесредневековой литературе: скандинавской, английской и немецкой.

1. О выборе пути. Какие книги или люди оказали на Вас наибольшее влияние? В юности мне хотелось стать врачом и до сих пор кажется, что на этом пути я могла бы принести пользу. Помимо медицины, меня всегда интересовала археология — мой отец был археологом и часто брал нас с друзьями в археологические экспедиции. Однако он никогда не поддерживал моих планов пойти по его стопам, хотя и нередко давал мне переводить английские и немецкие книги и статьи об антропогенезе, о жизни человекообразных обезьян, о раскопках в Африке. Тем не менее, когда я решила поступать в Институт иностранных языков, чтобы заниматься художественным переводом, отец буквально за руку отвел меня на филологический факультет Московского университета. Я всячески сопротивлялась, пытаясь объяснить ему, что не смогу без подготовки сдать вступительных экзаменов. Однако его авторитет пересилил мои сомнения, и я подала документы на филологический факультет. Как он радовался сданным мною экзаменам, первым статьям, книгам, как всегда верил в меня! Даже сейчас, когда его больше нет с нами, память о нем мне очень помогает.

В университете мне встретилось много замечательных людей, но самым сильным было влияние моего научного руководителя Ольги Александровны Смирницкой. Я ждала каждой ее лекции, каждого занятия, просто разговора с ней. Ольга Александровна организовала Общество по изучению поэтического языка, в состав

которого входили всего семь человек. Каждое заседание этого нового ОПОЯЗ'а казалось нам чудом — вместе читая песни «Старшей Эдды», мы чувствовали, что принимаем участие в познании истины, получая от средневековых текстов ответы на вопросы, которых никто никогда не задавал. Теперь я знаю, что самое невозможное для научного руководителя — это научить студента творчеству. Именно этому учила нас Ольга Александровна.

На заседаниях нашего кружка иногда бывал Михаил Иванович Стеблин-Каменский, чьи книги и статьи впервые ввели нас в мир скандинавской филологии. Он предложил мне, студентке четвертого курса, составить указатели к норвежским королевским сагам («Круту Земному» Снорри Стурлусона) и много помогал в работе над ними, разбирая омонимичные имена, объясняя различия в современных и средневековых топонимах, с безграничным терпением исправляя мои бесчисленные ошибки. Он был первым человеком, всегда называвшим нас по имени-отчеству.

Как только была закончена работа над «Крутом Земным», Ольга Александровна поручила мне еще более интересную работу — перевести все древнеанглийские поэтические памятники, кроме «Беовульфа», который уже был к тому времени опубликован. Раз в неделю я приносила ей свои подстрочники, она проверяла их и правила, а потом мы обсуждали их с поэтом Владимиром Георгиевичем Тихомировым. Трудно сказать, что было более захватывающим в этой работе — первая ли встреча со стихами, которые до сих пор остаются для меня в числе самых любимых, или участие в точнейшем филологическом анализе, которому подвергала их Ольга Александровна, или те тайны поэтического мастерства, которые открылись мне благодаря Владимиру Георгиевичу, на моих глазах подбиравшему аллитерации, уточнявшему рифмы, постигавшему новые смысловые глубины созвучий. Эта совместная работа продолжалась больше года и помогла мне не только овладеть древнеанглийским языком, но и самой решиться на поэтический перевод.

Уже окончив университет и работая преподавателем истории английского языка в Институте иностранных языков, я продолжала часто бывать на филфаке. Именно там мне посчастливилось впервые прослушать курс лекций об эпосе Елеазара Моисеевича Мелетинского, чьи работы, например «Эдда и ранние формы эпоса», «Поэтика мифа», «Средневековый роман», и прежде вызыва-

ли у меня огромный интерес. Меня всегда поражал и необыкновенный объем материала, с которым так непринужденно обращался Елеазар Моисеевич, и глубина и точность его наблюдений, и способность мгновенно проникать в суть любого вопроса. Последнее было особенно заметно на заседаниях отдела Истории всемирной литературы ИМЛИ, куда я перешла работать. Участие Елеазара Моисеевича позволяло увидеть смысл в любом самом на первый взгляд бесплодном обсуждении, в самой безнадежной работе, самом утопическом начинании. Мнение Елеазара Моисеевича крайне ценно для меня и сейчас. По его совету была написана «Древнейшая лирика Европы». Без его участия, предложений, критики мне трудно представить свою работу.

Учителем Елеазара Моисеевича был Виктор Максимович Жирмунский. Его работы, в частности «Рифма, ее история и теория», оказали на меня огромное влияние, заметное даже в названии моей дипломной работы «О звуковой организации древнеанглийской поэзии» и особенно кандидатской диссертации «История древнегерманской (скандинавской, древнеанглийской, древневерхнемецкой, древнесаксонской) рифмы». Для меня всегда были очень важны труды представителей «формальной школы»: Ю.Н.Тынянова, Р.О.Якобсона, Б.М.Эйхенбаума, В.Б.Шкловского, В.В.Виноградова, Г.О.Винокура, Б.В.Томашевского.

Помимо работ тех ученых, о которых я только что написала, на меня оказали большое влияние труды А.Н.Веселовского, А.И.Смирницкого, М.М.Бахтина, О.М.Фрейденберг, В.Я.Проппа, Ю.М.Лотмана, Л.Я.Гинзбург, С.С.Аверинцева, М.Л.Гаспарова. Из западных работ для меня были крайне ценны труды К.Леви-Строса, Й.Хейзинги, Э.Р.Курциуса, М.Пэрри и А.Лорда, Э.Ауэрбаха, А.Хойслера, Э.Сиверса, Я. де Фриса, Гектора и Норы Чадвик.

2. Об изменениях количественных и качественных. Я начинала как лингвист, мои первые работы были посвящены английской просодии, особенно интересно для меня было заниматься диахронической фонологией. После этого я стала переводить древнеанглийскую поэзию и писать о ней, а затем преподавать историю английского языка — я проработала десять лет (1980–1989) в Институте иностранных языков. Кроме того, я вела в институте спецсеминары по рунологии, готскому языку и исландским сагам. Желающих заниматься этим было вначале не-

много. Помню, что на первое занятие, к которому я особенно тщательно готовилась и даже развесила по всему институту объявления, нарисовав на них викингские корабли, не пришел ни один человек. Потом постепенно собралась группа заинтересованных и очень способных студентов, занятия с которыми многому меня научили (с некоторыми до сих пор сохранились тесные связи).

Несколько лет я работала в ИМЛИ и занималась почти исключительно литературой Скандинавии, в основном раннесредневековой исландской поэзией, и совсем немного — шведской поэзией начала XIX века. Тогда в соавторстве с Еленой Ароновной Гуревич была написана книга «Поэзия скальдов». В ИМЛИ у меня появился первый аспирант, работать с которым оказалось необыкновенно интересно и крайне сложно. Труднее всего было найти такую линию поведения, чтобы не навязывать собственных мнений, но и не терять инициативы в руководстве. Не уверена, что мне это удалось.

Последние годы, уже работая в РГГУ, я перестала заниматься поэзией и впервые начала переводить и писать о прозаических текстах — норвежских рыцарских сагах, их соотношении с рыцарскими романами и о до сих пор не переведенных исландских рыцарских сагах. Писать о прозе мне трудно и непривычно, прежде всего потому, что в занятиях поэзией меня интересовала именно звуковая организация, ее место в общей структуре произведения, связи с языковой и образной системой, соотношение звучания и значения. Свои занятия прозой я рассматриваю как подготовительные к тому, чтобы, вновь обратившись к поэзии, приблизиться к пониманию совсем неизученного поэтического жанра скандинавской словесности — исландских эпических поэм (рим). В основе сюжетов многих рим лежат рыцарские саги, как норвежские, которые были переведены с французского, так и собственно исландские, сочиненные под влиянием норвежских переводов. Я надеюсь, что, изучив рыцарские саги, на которых были основаны римы, смогу лучше понять структуру и тех и других, перевести несколько текстов и написать о них небольшую работу. Хотя поэтическая традиция рим просуществовала пять веков, большая их часть до сих пор не издана, и сами исландцы удивляются тому, что кто-то хочет заниматься римами — настолько они трудны для понимания.

3. Об обществе и сообществе. Мне кажется, что мои изменения — не выражение общей тенденции, а мой индивидуальный и весьма маргинальный путь. Чужое мнение, взгляд со стороны мне всегда очень помогали. Я всю жизнь советовалась и показывала свои работы и дома (маме, которая по профессии математик-алгебраист), и друзьям, коллегам. Мне очень посчастливилось в том отношении, что у меня есть единомышленники в науке, которые всегда правильно понимают то, что я хочу сказать. Обычно я пишу свои работы, имея в виду такого друга-единомышленника, конкретного адресата, узкого специалиста в моей области, а не абстрактную аудиторию, а перевожу, напротив, для того, чтобы заинтересовать всех.

Сознательно я никогда не стремилась выработать разные стили и приемы для общения с разными аудиториями и, по-моему, не овладела никакими регистрами общения с читателями — профессионалами и любителями, кроме того единственного, который всегда неосознанно использую. Неожиданные вопросы непрофессионалов, мне кажется, никак не могут никому помочь в работе, а контакт с коллегами-профессионалами для меня всегда был очень важен.

Я не знаю, как общество оценивает мои работы, поэтому мне трудно определить степень адекватности оценки. Знаю только, что думают о них немногие специалисты. Самой мне всегда очень интересно писать, но потом трудно возвращаться к уже написанному. По-моему, мне еще ни разу не удалось убедить в собственной правоте тех, кто придерживается иных взглядов, хотя я иногда очень к этому стремилась.

Трудно, конечно, не заметить тех перемен, которые произошли в научном сообществе за последние 10–15 лет, и его «большую мобильность», и «меньшую профессиональность». В науке сейчас появляется много случайных людей, которые с удовольствием вступают в спор, не смущаются, если ошибутся, и обычно остаются при своем мнении (даже необоснованное, оно для них ценнее, чем чужое, пусть подкрепленное знанием). Они смело берутся за решение самых трудноразрешимых проблем, с легкостью интерпретируют самые загадочные памятники, мало интересуются «историей вопроса», хотя подчас высказывают весьма оригинальные суждения.

4. Об отношении к философии. Изучение философии в университете всегда вызывало у меня интерес, а лекции и занятия по истории философии для всего моего курса стали подлинным событием благодаря нашему лектору — замечательному ученому и отважному человеку, впоследствии поплатившемуся за свою смелость. После окончания университета я не занималась философией, хотя мне всегда было интересно читать философские труды. Некоторые авторы (К.С.Льюис, С.Л.Франк, П.А.Флоренский, В.В.Розанов) вызывали у меня такой интерес, что мне хотелось прочесть все, написанное ими.

5. О науке и научности. Филология (лингвистика, литературоведение) — это наука, потому что она вырабатывает и систематизирует объективные знания о действительности, словесной, текстовой и т. д., в нее включается как деятельность ради получения нового знания, так и результат этой деятельности — некая сумма знаний. Если считать целью науки описание или объяснение процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов, то филология, несомненно, относится к наукам, так как она описывает и объясняет явления словесной действительности и изучает законы ее построения.

И поэтика, и историческая поэтика — это тоже наука, исследующая явление действительности (структуру произведения словесности) и устанавливающая законы взаимодействия его отдельных элементов (сюжетов, тем, образов, стиля). К наукам относятся и более частные филологические дисциплины, такие как стиховедение, текстология, палеография, эвристика, герменевтика, стилистика. Мне кажутся особенно ценными те филологические исследования, которые основываются на строгом лингвистическом анализе. Математические методы, статистика, применение количественного анализа так же необходимы для выявления фактов, как сравнительный метод — для их обобщения. Мне кажется важным, что гуманитарным наукам, насколько возможно, придается статус точных, чему способствует полный отказ от эссеизма. Основной критерий научности — верифицируемость.

Новые технологии (компьютер, интернет), которыми сейчас стало очень удобно пользоваться, просто экономят время и силы, а способ работы с текстом едва ли может для меня существенно измениться.

Формальные и структурные методы — основные методы моей работы с текстом, поэтому мне трудно согласиться с утверждением «структурализм умер». Лингвистическая основа, структурный анализ, поиски внутренних закономерностей построения, применение математических формул, схем, таблиц, использование формализованного понятийного аппарата — все то, что дал структурализм, имеет, как мне кажется, непреходящую ценность.

В свое время труды М.М.Бахтина тоже казались мне «образцом для построения современной гуманитарной науки» и оказали на меня огромное влияние.

Мне не пришлось испытывать явного идеологического давления ни на филфаке, ни во время преподавания в Институте иностранных языков (если не считать полукомического предложения, высказанного мне секретарем парторганизации, изменить материал при изучении готского языка и прекратить читать со студентами Евангелия — как известно, никаких памятников, кроме Евангелий, на готском языке не сохранилось). Главным источником внешнего давления в ИНЯЗ'е была огромная педагогическая нагрузка, у всех преподавателей в расписании значилось 24–26 лекционных и семинарских часов в неделю, но из-за замен часто получалось 38–40 часов. Понятно, что при такой загруженности было трудно найти время не только на занятия наукой, но даже на подготовку к очередным лекциям и семинарам. Проблема выбора (наука или студенты), стоявшая передо мною все десять лет, очень затрудняла и работу над диссертацией, и преподавание.

Мне трудно судить об изменении критериев научности в моей области. Проблема постмодерна, как мне кажется, не имеет непосредственного отношения ни к моим занятиям, ни вообще к медиевистике.

Современное состояние медиевистики, особенно на Западе, внушает мне некоторые опасения. В России, насколько я могу судить, интерес к изучению средневековой литературы пока не угас: процветают научные центры и школы, в частности в университетах и в академических институтах, все больше студентов занимается чтением, переводом и комментированием средневековых памятников и рунических надписей, к числу обязательных предметов в российских университетах до сих пор относится готский язык, преподавание которого уже многие годы утрачено на Западе, и т. д.

В 1993 году я стала почетным членом одного из английских университетов, что дало мне неоценимую возможность пользоваться его библиотекой и узнать немного о его жизни. Шесть лет назад в этом университете вслед за кафедрами лингвистики и философии прекратила свое существование кафедра средневековой литературы, а за пятнадцать лет до этого (со смертью единственного профессора-специалиста) там окончилось изучение скандинавской литературы. Оксфорд и Кембридж были последними университетами, где преподавание истории английского языка и древнеанглийской литературы удержалось дольше всего, однако четыре года назад все без исключения университеты в Великобритании отказались от преподавания раннесредневековой литературы и истории английского языка. Теперь во всех английских университетах курс истории литературы начинается в лучшем случае с поэзии Чосера.

Что же пришло в английских университетах на смену занятиям средневековой литературой, лингвистикой, философией? Приведу полный список названий предметов, предлагаемых вниманию студентов в 2004–2005 году на филологическом факультете в том университете, где мне позволено пользоваться библиотекой.

Первый год обучения:

Культура и критика. Настоящее и прошлое.

Второй год обучения. Из предлагаемых предметов нужно выбрать два в каждом семестре.

Первый семестр: Введение в изучение кино. Шекспир и комедия Ренессанса. Желание и власть. Введение в американскую литературу. Секс и разум.

Второй семестр: Голливуд и Европа. Революции и эволюции. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. Чосер и его современники. Мир наоборот: английская литература 1640–1700.

Третий и последний год обучения. Из предлагаемых предметов нужно выбрать по одному в каждом семестре.

Первый семестр: Преступность и современность. Библия и литература: Ветхий Завет. Американская музыка и общество. Современная культура: Британия 1979–2001. Постколониальный нарратив: место, культура, идентичность. Кибер-пространство, киберкультура, кибер-теория. Харди и женщины, которые совершали поступки, приход современности. Любовь и опасность в поэзии Возрождения. Кино и литература: текстуальные трансформации.

Романтики. Введение в сочинение сценариев. Британское кино: эстетика и национальная идентичность.

Второй семестр: Опыт модернизма. Шекспир и трагедия Ренессанса. Подростки на экране: Голливуд и молодежная культура. Сатира. Страсть и мода: феминистика, секс и зрелища в кино. Современная поэзия. Американская индийская литература: земля, выживание, сопротивление. Чернокожий модернизм. Мильтон — поэт революции. Экзотика, колониализм и рабство в XVIII веке. Сильвия Плат, Тэд Хьюз и послевоенная литературная культура. Трансатлантическое столетие 1880—1890.

Нетрудно заметить, сколь мало места отводится в приведенной мной университетской программе, крайне разнородной и никак не систематизированной, истории литературы, изучению памятников прошлого. Весьма необычным показался мне принцип составления программы — всем преподавателям по электронной почте предлагается ввести в единый документ названия тех курсов, которые им больше всего хочется в данный момент преподавать, и из ответов и составляется программа. Поэтому студент-второкурсник, выбравший в первом семестре такие предметы, как «Введение в изучение кино» и «Секс и разум», а во втором — «Голливуд и Европа», «Революции и эволюции», рискует совсем ничего не узнать об английской литературе, особенно если на третьем курсе он отдаст предпочтение «Американской музыке и обществу», или «Подросткам на экране: Голливуд и молодежная культура», или «Страстям и моде: феминистика, секс и зрелища в кино». Составители программы объясняют, что изучение Чосера или Шекспира дает студентам для понимания английской культуры не больше, чем песни Элвиса Пресли или коллекция автобусных билетов. С преподаванием Чосера или Шекспира тоже возникают трудности. Университетский семестр рассчитан на десять недель, курс же включает изучение произведений не только Чосера или Шекспира, но и их современников. Поэтому за первый семестр студенты успевают прочесть не более трех шекспировских трагедий («Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло»), а за второй — всего пять комедий («Как Вам это понравится», «Виндзорские насмешницы», «Двенадцатая ночь», «Мера за меру», «Зимняя сказка»), и ничего, кроме «Кентерберийских рассказов» и «Книги герцогини», Чосера. В программе, посвященной Чосеру, заинтересовавшей меня более других, по одному семинару предлагается на

мистерии, рыцарский роман, мистицизм и лирику, зато отдельный семинар посвящается теме «Женщины в Кентерберийских рассказах» (в шекспировский курс включается семинар «Шекспир и кино»). При этом студентам не рекомендуется писать курсовые работы о произведениях, не охваченных университетской программой.

Медиевистика в Англии несомненно переживает глубокий кризис. Можно было бы подумать, что причина всего происходящего в Англии — введение платного высшего образования, когда «спрос определяет предложение» и студентам оказывается легче заниматься голливудскими фильмами, чем читать древнеанглийские памятники. Однако это совсем не так. Из года в год в университет поступают студенты, вполне открыто заявляющие на вступительном собеседовании о своем желании заниматься литературой прошлого, а не феминистикой. Тем не менее, из года в год студентам приходится довольствоваться лишь приведенной мною университетской программой. В Англии до сих пор еще остались замечательные ученые, которые могли бы рассказать студентам о древнеанглийской поэзии, перевести для них исландские саги, прочитывать с ними готские Евангелия. С каждым годом их становится все меньше, а вскоре не останется и вовсе — тогда произойдет перерыв в культурной традиции.

6. Чему имеет смысл учить студентов? По-моему, самое важное, что хорошо бы передать студентам, — это творческое отношение и любовь к тому, чем занимаешься. Современные студенты более свободны, чем в свое время были представители моего поколения. Они меньше зависят от авторитетов и меньше обременены знаниями. Может быть, стоит попытаться научить их большей добросовестности.

7. Что бы Вам хотелось успеть сделать в жизни? Мне хотелось бы успеть написать о средневековой духовной эпической и лирической поэзии (древнеанглийской, скандинавской, немецкой) и о средневековой английской архитектуре (соборах и приходских храмах).

Ответы на анкету

0. Как Вы определяете для себя Вашу профессию? Как образ жизни.

1. О выборе пути. На раннем этапе (художественное училище) решающими были обстоятельства. Поступление на факультет теории и истории искусства Академии художеств и дальнейшее было сознательным выбором.

2. Об изменениях. Постепенное освобождение: от стереотипов, внутренней цензуры, привычных ходов мысли и наезженной профессиональной колеи и т. д.

Положительным итогом «идеологических обстоятельств» стало то, что, не имея возможности заниматься авангардом, я остановился на ранних формах искусства, и впоследствии знание этого материала позволило более обстоятельно подойти к проблеме примитивизма в искусстве XX века.

3. Об обществе и сообществе. В неформальные научные коллективы не входил. Моя работа — результат моих собственных наблюдений. Коллеги не мешали в научном плане моей работе, скорее поддерживали ее, хотя помехи, исходившие от идеологически озабоченного начальства, были постоянным фоном. При этом книги, проходившие в печать, издавались большими тиражами и были «затребованы обществом». Мне кажется, они затребованы и сегодня.

4. Об отношении к философии. Философия неизбежна, потому что картина мира, способная удовлетворить человека своей полнотой, может быть только философской (если не религиозной). Такая картина, основанная исключительно на научных данных, была бы фрагментарной, бессмысленной и бесчеловечной. Философская мысль — это тревога о неизвестном. Философия вопрошает о действительности, недоступной точному знанию; делает то, что правила

игры не позволяют науке, стремится не к знаниям, а к Знанию. Философское и научное знание соотносятся как творчество и ремесло.

Гуманитарное знание за пределами фактографии живет той долей философского смысла, который оно вносит или поддерживает.

Нужна ли ученому философия? Хотелось бы сказать, что ученому она нужна, так же как всякому человеку, однако мне известно, что именно в среде ученых считается хорошим тоном презрительное отношение к философии. Думается, что эту разновидность корпоративного чванства можно объяснить подростковым возрастом науки (беспорные причины противостоять философии — у религии).

Как предмет университетской программы философия, конечно, необходима, но сдача экзамена не лучший способ войти в философию, суть которой в том, что она не принимает готовых ответов.

Интерес к теории искусства у меня появился в художественном училище, однако не в связи с лекциями по истории стилей, а с чтением «Основных начал» и «Так говорил Заратустра».

5. О науке и научности. Мои диссертационные работы рассматривают ранние формы искусства. Этот материал находится на стыке археологии, истории, этнографии и искусствознания, использующих методы и естественных, и гуманитарных наук. Чтобы покончить со спорами о критериях истинности, а лучше сказать, доброкачественности гуманитарного знания, нужно уяснить особенности объекта исследования. Объекты гуманитарных исследований отличаются тем, что они созданы человеком для удовлетворения его духовных потребностей. Приемлемыми гуманитарные построения делают: логичность изложения, внутренняя непротиворечивость — убедительность.

Искусствознание после периода безуспешных попыток имитировать научные методы («искусствометрия») теперь откровенно приспосабливается к новой ситуации, где произведения искусства — это особый вид материальной ценности и где художников назначают те, кто ими торгует.

6. Чему учить студентов. Я думаю, что нужно прежде всего найти способ разбудить их интеллект и дать пример самостоятельного мышления.

7. Что бы хотелось успеть. Войдя в новую работу, найти что-нибудь обнадеживающее.

«Наведение порядка» и «большой проект»

Мне кажется, что определять свою профессию такими словами, как *ученый* или *исследователь*, высокопарно и самонадеянно, я предпочитаю казенное *научный работник*. Впрочем, мои занятия на протяжении почти всей сознательной жизни точнее всего обозначить именно как *научные исследования*. *Преподавание* (а это только последние двенадцать лет) неразрывно связано с ними: учу тому, что изучаю (и, конечно, учусь, уча, но об этом после). Изучаю же я *фольклор*, преподаю *фольклористику* и, соответственно, считаю себя *фольклористом*, скорее *филологом-фольклористом*, поскольку в первую очередь занимаюсь текстами словесными. Обозначения *культуролог*, даваемого ныне всем и каждому, я на свой счет не принимаю, хотя с определенной точки зрения занимаюсь и *народной культурой*.

На выборе профессии сказалось несколько обстоятельств. Прежде всего, никакого особого тяготения к занятиям наукой, да и каких-либо специфических способностей к ним, я за собой в ранней юности не помню. После школы работал электромехаником на радиорелейной линии, но, осознав полную непригодность к высоко ценившимся в 50-е годы техническим профессиям, а также вследствие полученного в семье «литературного» воспитания, поступил на филфак МГУ — на его заочное отделение (для очного не хватило подготовки).

Дальнейший выбор был обусловлен желанием подальше отодвинуться от официальной идеологии, точнее, от тех областей знания, в которых ее вмешательство казалось наиболее назойливым. Колебания между лингвистикой, древнерусской литературой и фольклором были недолгими, поскольку даже тогда мне было понятно, что первые две дисциплины не могут быть освоены путем самообразования (каковым по существу являлось заочное обучение); сказки же я любил с детства. Дело решил спецкурс Е.М.Мелетинского, предмет которого (архаический фольклор) меня впервые и всерьез заинтересовал.

На последнем курсе Елеазар Моисеевич предложил моей сокурснице и мне выбор между эпосом карельским и монгольским — речь шла о возможной аспирантуре в фольклорном секторе ИМЛИ, которым он в то время заведовал. Я уступил место даме, она выбрала карельский (впрочем, его изучение в скором времени забросила), а мне достался монгольский, оказавшийся предметом моих занятий по крайней мере на последующие четверть века, о чем ничуть не жалею. В аспирантуру, однако, я так и не поступил. (Столь ли случайным был этот выбор? Еще лет за пятнадцать до того из Монголии, после долгой работы в Уланбаторском университете, вернулась В.Н. Ключева, близкий друг нашей семьи. Она привезла рассказы об этой стране, свои переводы монгольских сказаний, буддийские иконы, статуэтки, четки, кольца и другие вещи, а также бесчисленные знакомства — монголы гостили у нее, останавливались в ее комнате; с некоторыми из них мне довелось впоследствии встречаться в Улан-Баторе. Именно тогда в мою жизнь впервые вошла Монголия. У меня нет рационального объяснения этому совпадению биографических обстоятельств.)

Что касается людей и книг, в наибольшей степени повлиявших на выбор профессии, то здесь я опять-таки в первую очередь назову Елеазара Моисеевича (которого раньше слышал, чем прочитал). В свое время сильнейшее впечатление произвели на меня «Морфология сказки» и «Исторические корни» В.Я.Проппа. Если же копнуть глубже, то обнаружится, что в детстве едва ли не самыми любимыми книгами были «Русские богатыри» (былины в обработке И.Карнауховой), антология русской сказки «Жар-птица» и «Осетинские нартские сказания». Детскому опыту чтения сказок, детскому знакомству с древнегреческими мифами и эпосом я обязан не только первыми пристрастиями к предмету будущих исследований, но и первыми впечатлениями о нем, а также ощущением поразительного совпадения между фольклорными текстами разных народов. Вообще я убежден, что «исходные» научные интересы фольклориста могут формироваться именно на основании удивления по поводу сходства сюжетов и мотивов, повторяющихся на огромных временных дистанциях и в чрезвычайно удаленных друг от друга регионах.

Конечно, этот «первичный» выбор определил лишь характер специализации. Уже в студенческие годы у меня наметились три направления занятий: общая типология фольклора; русская былина; монгольский эпос. В дальнейшем они реализовывались

именно в такой последовательности. При этом с общей типологией я не только начал (в университетском дипломе), но и постоянно к ней возвращался (окончательно — в 90-е годы), а также использовал этот подход, работая над тем или иным конкретным материалом. В известном смысле меня всегда интересовал не сам материал как таковой, а обнаруживающиеся в нем устойчивые структуры (семантические, морфологические и др.), изучение которых, по моему глубокому убеждению, ведет к пониманию механизмов жизнедеятельности фольклорных (да и вообще культурных) традиций и их базовых смыслов.

Кстати, считать себя настоящим монголоведом мне не позволял в первую очередь именно этот фокус интересов (а не только отсутствие специального образования, совершенно невосполнимое уроками «дождливыми вечерами»). Фольклором, мифологией, традиционной словесностью монголов (иногда и других народов) я занимался не столько для того, чтобы постичь данную культуру в ее специфике, сколько для изучения все тех же культурных универсалий, особенно ярко проявляющихся именно в устных традициях; разумеется, путь к решению подобной задачи лежал через углубленное рассмотрение конкретной культуры (или культур). Сказанное, кстати, не предполагает равнодушия к предмету изучения — без живого любопытства к нему никакое исследование (в том числе и типологическое) вообще невозможно.

«Этапными» были несколько событий (кроме упомянутых выше).

Первое («посвятительное») — поездка в Тарту на Летнюю школу по вторичным моделирующим системам (1966), — включившее меня в московско-тартуское семиотическое сообщество; его членом, хотя и находящимся несколько на обочине, я чувствовал себя и в последующие годы. А незаслуженно доброжелательное отношение Ю.М.Лотмана и Р.О.Якобсона к моему во многом еще ученическому докладу (о пространственно-временных отношениях в былине) санкционировало для меня применение аналитических приемов структурной поэтики к устному эпосу; его правомочность поначалу мне не казалась самоочевидной. Надо добавить, что для «цеховой» советской фольклористики 60-х годов, да и позднее, эта работа оставалась чуждой, что я в полной мере ощутил, когда через несколько лет по протекции Б.Н.Путилова публиковал ее уже в виде большой статьи в специальном фольклористическом сборнике.

Второе — начало «домашнего» семинара по структуре волшебной сказки, руководимого Е.М.Мелетинским (с того же 1966-го). На протяжении лет пяти, не меньше, мы вчетвером (еще Е.С.Новик и Д.М.Сегал) еженедельно, помнится, по средам, собирались у него на квартире; кружок распался с эмиграцией Д.М.Сегала. Проектируемая книга осталась недописанной, итог работы — две коллективные статьи, публиковавшиеся в тартуских «Трудах по знаковым системам»; лишь недавно они вышли в Москве под одной обложкой. Впрочем, судьба их оказалась счастливой — они были переведены на все основные европейские языки и даже удостоились международной премии. Для меня же это стало первым опытом совместной, лабораторной, студийной работы, веру в высокую продуктивность которой я сохранил на всю жизнь. Елеазар Моисеевич когда-то сказал, что наука — дело коллективное. В справедливости этого суждения мне случалось убеждаться множество раз.

Третье — поступление в ИМЛИ, в группу (впоследствии Отдел) литератур Азии и Африки (1969), что сделало мои востоковедческие занятия профессиональной обязанностью и узаконило институциональное существование внутри академической науки. Отныне я «по должности» обязан был заниматься монгольской словесностью (причем за мной было признано право заниматься именно фольклором), и эта необходимость делала мои первоначально совсем уж дилетантские занятия несколько более профессиональными.

Четвертое — поездка в Монголию (1971) и, особенно, монгольские фольклорные экспедиции (1974, 1976, 1978). Разумеется, лучше «один раз увидеть...», а я наблюдал изучаемую культуру множество раз, бывая в Монголии практически ежегодно; позднее посчастливилось увидеть и китайскую («Внутреннюю») Монголию. Повезло и в экспедициях. Было записано нескольких редких эпических текстов — их наиболее интересную часть мы с синологом Б.Л.Рифтиным, моим постоянным соавтором полевой работе, а также с монгольским лингвистом-диалектологом Ж.Тумурцереном публиковали в Москве и в Германии. Но главным результатом общения с монгольскими сказителями стало живое соприкосновение с таким эпосом, который в западноевропейской культуре угас много веков назад и известен лишь по книжным памятникам. Монгольские коллеги отнеслись ко мне доброжелательно, прощая — вероятно, за любопытство к их традициям — недостаточность востоковедческой квалификации. Участие же в соответствующих международных конгрессах позволило

установить творческие связи внутри легко обозримого мирового монголоведческого сообщества.

Пятое — спустя много лет — переход на работу в РГГУ (1992). Нескольких часов хватило мне на обдумывание полученного предложения, после чего я без колебаний принял его и оставил ИМЛИ после двадцати с лишним лет пребывания там. Я никогда не жалел об этом переходе, как и вообще никогда не жалел о решениях такого рода. Мне хорошо работалось в этом институте, а если какие-либо недовольства и существовали, то относились они, в сущности, не к нему, а к историческому времени, на которое пришлось пребывание в его стенах. Но было желание избавиться от двусмысленного положения монголиста «по должности», в полной мере себя таковым не чувствующего, да и ощущение истощенности своих возможностей на данном поприще (последняя большая работа — о монгольской мифологии — так и осталась незавершенной). Хочу подчеркнуть: никто там не неволил меня заниматься какими-либо неинтересными или неприятными предметами, однако сама работа в востоковедческом отделе накладывала серьезные ограничения. Кроме того, была все усиливающаяся потребность обобщить накопленные наблюдения и все свое время посвятить вопросам теоретической фольклористики, а также рассказать новому поколению гуманитариев о своем понимании данного предмета. Есть поверье: колдун не может умереть, пока не передаст свое умение преемнику. Я полагаю, что и нам нельзя оставлять поприще своей деятельности, не передав в надежные руки свои знания и исследовательский опыт.

Наконец, шестое и последнее событие — начало работы фольклорного семинара ИВГИ (середина 90-х годов), теперь преобразованного в специальный центр. В нем удалось реализовать многое из задуманного ранее: коллективный, лабораторный тип научных исследований; соединение изучения и обучения; освоение новых предметных областей, а также новых методологических и инструментальных возможностей гуманитарного знания.

Что менялось для меня при этих событиях? Как следует из сказанного, существенно (иногда под влиянием внешних обстоятельств) менялся предмет изучения. Нельзя сказать, чтобы это не оказывало влияния на цели и приемы исследования. Так, оставаясь убежденным в значительности аналитического потенциала структурно-семиотической методологии, я все же довольно мало использовал ее в своих монголоведческих работах. Дело отчасти в том, что я никогда

не был достаточно уверен в полноте и адекватности своего понимания монгольской культуры. Как мне казалось, в таких условиях прибегать к приемам структурно-семантического анализа значило лишь множить ошибки произвольных интерпретаций. Предстояло сперва «навести порядок» в материале, точнее, в своем знании о нем, а для этого более подходили традиционные способы описания. Пожалуй, на протяжении всей своей монголоведческой деятельности я только и занимался подобным «наведением порядка», хотя со стороны это, возможно, не всегда было заметно.

Переход в РГГУ совпал для меня с осознанием постструктуралистского поворота в гуманитарном знании. Я этого поворота не принял. Продуктивнее использовать достигнутый результат предшествующих научных направлений, чем разбираться с их действительными или кажущимися ошибками; для меня, скажем, важны не «заблуждения» Леви-Брюля или Леви-Строса, а то, в чем они оказались безусловно правы. Я думаю, путь науки — это непрерывное превращение тех эффективных аналитических процедур, которые первоначально принадлежали какой-либо одной школе, но до поры до времени отторгались научным сообществом, в «общее достояние», в «воздух», в «почву» гуманитарного знания. Помню, как коллега-историк, в публичной лекции весьма критически отзывавшийся об эволюционизме, стадийности и т. п., свой ответ на вопрос слушателя все же начал словами: «Понимаете ли, *на этой стадии развития...*».

Нечто подобное произошло со структурно-семиотической методологией. Понятийный и терминологический аппарат структурализма, как и многие его исследовательские приемы (все то, что несколько десятилетий назад вызывало непонимание и насмешки), теперь широко используются специалистами, никакого отношения к структуралистскому направлению не имеющими. Сегодня на труды Соссюра, Якобсона, Леви-Строса и др. опираются ученые разных специальностей, а, скажем, знаковая природа народной культуры самоочевидна для большинства этнологов. В этом смысле «структурализм жив» и вполне конструктивен — вопреки критикам, пишущим о «репрессивности» его методов (и категорически требующим отказаться от них) или о «дегуманизации» объекта его исследований (это как если бы ботаника обвиняли в том, что он изучает «растения вообще», а не каждую отдельную травинку, да еще не восторгается запахом цветов).

У меня не было проблем со «сменой научных парадигм». Я и сейчас могу подписаться под большинством своих работ, в том числе тридцатипятилетней давности, а мои многочисленные претензии к ним в общем не имеют принципиального характера. Знакомство с каким-либо новым для меня направлением или новой областью знания (теорией коммуникаций, когнитивистикой, этологией и т. д.) обычно лишь способствовало расширению исследовательских возможностей — не только при обсуждении ранее поставленных задач, но и при формулировании новых. Появлялись новые ракурсы рассмотрения устных традиций, в центре внимания оказывался не только текст в качестве «имманентной структуры», но и авантекстовые формы, интертекстуальные и контекстные отношения и т. д.

Мне кажется, я всегда оставался последователен в своих подходах к материалу, а это — почти исключительно фольклор, либо очень близкая к нему (или даже зависящая от него) письменная словесность, либо, наконец, устойчивые компоненты индивидуально-авторских литературных сочинений. Более того, к чему бы я ни обращался (будь то русская былина, монгольская мифология, городская песня XX века, произведения Метерлинка или Олеши), я в некотором смысле всегда занимался одним и тем же, а именно — базовыми механизмами жизнедеятельности повествовательной традиции (причем не только устной): семантическими, морфологическими, коммуникационными. Конечно, ракурсы и приемы этих занятий неизбежно корректировались анализируемым материалом.

Вообще свои работы я всегда рассматривал не как отдельные и самодостаточные исследования, а как части одного «большого проекта», который должен будет получить окончательное воплощение, адекватное непрерывно уточняемому (впрочем, и поныне не вполне ясному) замыслу. Может быть, это иллюзия, но без такого ощущения работа для меня в значительной степени утратила бы смысл. Поэтому я всю жизнь писал не книги, а статьи, чаще небольшие, как бы предполагая в будущем или вернуться к теме и завершить ее, или, скорее, использовать сделанный фрагмент в качестве «строительного блока» в более масштабной, но еще не существующей конструкции.

Ощущение, что работаешь неизвестно для кого, знакомое, вероятно, всякому пишущему человеку, не раз возникало и у меня. Впрочем, как можно понять по некоторым отзвукам, мое многолетнее пребывание в монголоведении было не вполне бессмысленным;

должно быть, добросовестное «наведение порядка» всегда полезно — даже если этим занимается осваивающий предмет дилетант. Но сплошь да рядом оказывалось, что мои изыскания слишком «теоретичны» (или, скажем, умозрительны) для специалистов в конкретной предметной области (прежде всего, в монголистике, но не только в ней) и слишком экзотичны по материалу для теоретиков.

Почти за четыре десятилетия мне случалось принадлежать, причем не только последовательно, но и одновременно, к очень разным, почти не совмещающимся научным сообществам — семиотическому (московско-тартускому) и монголоведческому. Круг московских востоковедов, в который я долгие годы входил «по должности» (что не исключало самых тесных дружеских связей с коллегами), занимал в данном отношении промежуточное положение, частично пересекаясь и с тем, и с другим. Но все это — до 90-х годов, когда ситуация кардинально изменилась. Для меня это изменение обернулось, с одной стороны, практически полной утратой контактов с монголистической (и с востоковедческой) средой, а также возникновением нового сообщества на совершенно иных основаниях — никак не предметных, да и не методологических (скорее уж идеологических). С другой стороны, в моей жизни появился и стал постепенно играть определяющую роль круг университетской молодежи (студенты и аспиранты). Таким образом, для меня структура научного сообщества изменилась самым радикальным образом. Кажется, не только для меня, но все-таки я боюсь обобщать.

Я убежден, что реакция сообщества, которое находится с тобой в непосредственном, постоянном и в некотором смысле вынужденном контакте, и реакция читателя (а это почти всегда читатель-специалист), который свободен в выборе своего чтения и к тому же лишен диалогических возможностей, суть вещи совершенно разные. У нас не может быть устойчивой «обратной связи» с читателем, а поэтому мы подчас хотим видеть в коллеге-собеседнике читателя, что не правильно: человек становится твоим читателем только после того, как прочитает твой труд, в то время как далеко не все коллеги по сообществу читают работы друг друга (и, напротив, довольно редко это делают).

Чужое мнение — всегда благо, поскольку даже полное непонимание (или неприятие) твоих соображений или твоей работы может стать хорошим поводом для размышления о причинах этого непонимания, возможно, корнящихся в тебе самом. Взаимопонимание же внутри научного коллектива встречается реже, чем хотелось бы, а

полное согласие, способность говорить на одном языке вырабатывается не сразу даже в относительно узких рабочих группах и представляет собой огромную ценность. Насколько я могу судить, в основе подобного взаимопонимания лежит прежде всего единство изучаемого предмета, затем совпадение целей и лишь затем общность методологических установок (например, бесполезно дискутировать о древнекитайской поэзии со специалистом по новейшей истории Испании и, наоборот, с синологом об испанской гражданской войне — даже при наличии общих методологических принципов). Специалисты в одной предметной области, хотя бы и занимающиеся ее взаимоудаленными сегментами, скорее договорятся между собой, чем специалисты по разным, но типологически однородным традициям.

Положительный опыт подобного рода я наблюдал лишь в востоковедческом отделе ИМЛИ, в котором — за редким исключением — было по одному исследователю той или иной национальной литературной традиции. Ведь это только на очень сторонний взгляд кажется, что словесность арабская или тибетская, индийская или корейская представляют собой примерно «одно и то же», на самом деле дистанция между ними много больше, чем между двумя любыми европейскими литературами; думаю, что, напротив, с китайской точки зрения, культуры арабская и английская различимы относительно слабо, и в подобном взгляде есть своя правота — во всяком случае большая, чем в европоцентризме. Так вот, востоковедам ИМЛИ удавалось на своем обширном поле — от Африки до Малайзии — заниматься не только связями литератур, но также типологией литературного процесса и общими моделями (сюжетными, жанровыми, композиционными, стилистическими), которые за ним стоят. Разумеется, это достигалось в опыте взаимного чтения и взаимопонимания, десятилетиями нарабатываемом для достижения общих целей.

Желание пробиться к пониманию коллег, входящих в твое непосредственное окружение, рано или поздно приводит к преподаванию, т. е. к той коммуникативной ситуации, которая диалогична по определению. Только здесь можно получить настоящую реакцию на свои научные разыскания — в виде их развития, продолжения, даже отталкивания от них, но в любом случае для нового шага в той же области, причем совершенно не обязательно в полной мере понимать и принимать эти новые шаги.

В этой связи мне вспоминается, как в 1970 году я преподнес В.Я.Проппу нашу только что вышедшую коллективную статью, в

значительной степени представляющую собой развитие идей его «Морфологии сказки», а спустя какое-то время спросил о впечатлениях. «Я, знаете ли, чувствую себя курицей, высидевшей утят, — ответил он. — Семейство пришло к озеру, утята попрыгали в воду и поплыли, а курица мечется по берегу и не в состоянии следовать за ними». Помню также, как однажды, придя к П.Г.Богатыреву, нашел его обложенным терминологическими словарями. С их помощью «пионер семиотики», по выражению Ельмслева, читал один из выпусков тартуских «Трудов по знаковым системам». «Тяжело, — пожаловался он, — очень трудно понимать все это».

Слова Владимира Яковлевича (конечно, не лишённые некоторого кокетства) и простодушное признание Петра Григорьевича часто вспоминаются мне теперь, когда я чувствую беспомощность перед новым поколением исследователей, идущих куда дальше меня, причем иногда в таких направлениях, которые мне уже трудно и понять, и оценить. Но надо пытаться — ученому, которому не интересны голоса учеников, лучше не заниматься преподаванием. Кроме того, именно здесь проявляется обоюдность, взаимность, педагогического процесса; я, например, оказываюсь в положении обучаемого, когда речь идет об электронных технологиях, да и не только о них. Я очень много узнаю от своих младших коллег. Их эрудиция вызывает у меня большое уважение.

Вообще учителю всегда есть чему поучиться у ученика — хотя бы потому, что молодой исследователь быстро должен стать компетентней своего наставника в избранной для своих разысканий области, в противном случае труд его потеряет всякий перспективный смысл, превратится в тренировочное упражнение с заранее известным концом, не предполагающее какого-либо продвижения на пути познания. Однако все сказанное относится именно к воспитанию молодого поколения ученых. Иное дело — студент, не предполагающий заниматься твоим предметом в будущем. Здесь речь может идти только о передаче необходимого минимума знаний; кстати, здесь вполне уместны и тренировочные упражнения.

Чему учить — знаниям или методам получения знаний? Думаю, и тому и другому, но первое приоритетней. А лучше всего — передавать знания, рассказывая о способах его получения, это — идеальная, хотя и не слишком экономная (да и не всегда возможная) форма.

Наконец, у обучения есть еще один важный для самого учителя «педагогический эффект». Проистекает он из необходимости рассказывать ученикам не только о том, что является предметом узкого на-

учного интереса наставника, но и о гораздо более широких областях (знание о которых помимо всего прочего необходимо и для понимания специальных проблем). Это побуждает доводить до состояния максимально возможной ясности те сведения, которые обычно прямо не востребованы исследователем и лишь в виде неотчетливых пятен расположены на периферии его «фонового» знания.

С философией я знакомился будучи не студентом, а еще школьником — под влиянием соседа по квартире Валентина Фердинандовича Асмуса. На меня тогда большое впечатление произвел Кант (естественно, в том объеме, в котором я смог его освоить), удивил Фихте (как что-то искусственное и не очень серьезное), восхитил Ницше (своим литературным слогом, идеи же показались несколько поверхностными). На Гегеле, читать которого уже стало скучно, мое «философское образование» закончилось. В университетский курс, кажется, лишенный какого бы то ни было живого содержания, я особенно не вникал. Пожалуй, все это не оказало никакого влияния на мою последующую научную деятельность.

Философия совершенно необходима для интеллектуального развития человечества. Человеку умственного труда следует быть знакомым с философскими проблемами — надо задуматься и над закономерностями бытия, и над процессом их познания. Однако для методологии исследования и тем более для конкретных приемов анализа подобные размышления почти бесполезны, практические навыки осваиваются в ученичестве, формируются при непосредственной работе с материалом и при знакомстве с чужим опытом такой работы. Впрочем, один знакомый философ объяснил мне, что методология и вообще не является философией. В таком случае философия для предметной науки действительно не нужна (если только она не является объектом изучения в рамках интеллектуальной истории или истории идей).

Я недостаточно хорошо знаю труды Бахтина и мало ими интересуюсь, поскольку к моим темам они имеют весьма отдаленное отношение, кроме разве что книги о Рабле (хотя она и не совсем о Рабле). Это хорошая книга, несмотря на преувеличения и неточности — если верить медиевистам, а им, вероятно, надо верить. Несогласие же у меня вызывает не сам Бахтин, а его догматизированная версия, бытующая в наше время. Она создает иллюзию универсального решения чуть ли не всех вопросов, встающих перед гуманитарной наукой; надо ли говорить, что для учащейся моло-

дежи подобная иллюзия чрезвычайно вредна. Нет, Бахтин не является образцом для построения гуманитарного знания. Таким образцом вообще не может быть один ученый, сколь бы ярким он ни был, — ни Пропп со своим замечательным открытием, ни Якобсон, во многом определивший развитие филологической мысли XX века, ни человек-институт Жирмунский, ни неистощимый концептуалист Лотман; замечу, что для меня все эти имена (называю только тех, кого с нами уже нет) несопоставимо более значимы, чем Бахтин. Более того, не исключаю, что уже в следующем поколении читателей «модность» этого автора резко снизится, и тогда он займет, наконец, адекватное своему масштабу место философа и культуролога, а не интеллектуального вождя, создателя некоего образцового гуманитарного учения.

Является ли наукой философия и другие области гуманитарного знания? С моей точки зрения, да, являются, но вообще-то обсуждение этого вопроса не имеет особого смысла, поскольку отсутствует отчетливость в понимании того, что такое наука. Что же касается противопоставления наук «естественных» и «гуманитарных», то оно кажется мне несколько старомодным. Я думаю, «поле знания» сегментируется несравнимо сложнее, а его разные дисциплины имеют гораздо более причудливые соотношения, никак не исчерпываемые этой дихотомией. «Критерии научности» очень зависят от конкретной предметной области. Для меня они сводятся к возможности объективации изучаемого материала (так сказать, размещения под объективом наблюдательного прибора); к логически выверенным процедурам его анализа; к подтверждению выявленных закономерностей на достаточном количестве фактов, причем мера этой достаточности колеблется в огромных пределах — опять-таки в зависимости от объекта исследования; к корректному использованию языка описания, а в некоторых случаях — и к возможности его формализации. К приемам же интроспекции я отношусь осторожно, хотя и не исключаю их аккуратного и ограниченного применения. Наконец, я прекрасно сознаю, что в основе всех этих процедур лежит не выводимая логическим путем аксиоматика, набор убеждений, основанных на опыте — моем собственном и моих предшественников.

Что я хотел бы еще успеть в жизни? Завершить, насколько это возможно, наведение порядка в области своей деятельности и осуществить, наконец, большой проект.

Счастлиное стечение обстоятельств

О. Вопрос вводный. Как Вы определяете для себя Вашу профессию?

По университетскому диплому (1965) я филолог, по кандидатскому (1984) — этнограф, по докторскому (1996) — фольклорист. Сама бы я определила сферу своих научных занятий как «семиотика устной культуры», а этнические традиции и фольклор народов Сибири — как основное предметное поле моих изысканий.

1. О выборе пути. Каким был Ваш вход в профессию — подсказка близких людей или учителей, собственное устремление, случайное стечение обстоятельств?

Наукой я заниматься не собиралась: лет с 4–5 я совершенно определенно знала, что единственное место, где я буду существовать, — это театр. Еще шла война, и маме (в те годы она была актрисой передвижного театра, который обслуживал войска Южного фронта) иногда приходилось брать меня с собой на репетиции или спектакли, если в детском саду был карантин, а дома меня не с кем было оставить. После войны у нас в доме часто собирались мамыны друзья-актеры, которые когда-то учились вместе с ней в студии А.Д.Дикого, а теперь работали в разных театрах Москвы. Наверное, они тосковали о своей студийной юности и потому решили восстановить свои спектакли тех лет, но не для сцены, а на радио в рубрике «Театр у микрофона». Репетировали «Леди Макбет Мценского уезда», а я, забившись в уголок за ширмой, слушала, как из ничего не значащих реплик и бытовых воспоминаний, сменяемых иногда взрывами хохота, возникало нечто такое, от чего меня бросало то в жар, то в холод.

Школьницей я, как, наверное, большинство девочек, собиралась стать актрисой, занималась в разных драмкружках, балетных студиях, к каждому школьному вечеру готовила с одноклассниками какую-нибудь программу. После 9 класса не без успехов

ходила на прослушивания в театральные школы МХАТа, ГИТИСа, Щукинского училища (больше всего я боялась, как бы там не узнали, что у меня еще нет школьного аттестата). Но к 10 классу решила, что буду театральным режиссером. Однако в 17 лет идти на режиссерский факультет было бессмысленно.

В те годы в театральной Москве гремел спектакль «Такая любовь» по пьесе Когоута, поставленный Роланом Быковым в Студенческом театре МГУ. Чтобы попасть туда, я решила поступать на филологический факультет — ведь режиссер должен в первую очередь хорошо знать мировую литературу! Первые три студенческих года прошли не столько в учебных аудиториях, сколько в Клубе на Моховой — сначала в Студенческом театре, потом еще и в Эстрадной студии «Наш дом». Репетиции, прогоны, выездные спектакли, праздничные концерты для факультетов, которые уже переехали на Ленинские горы... Как я успевала учиться и вполне сносно сдавать экзамены — не знаю. Еще я рыскала по разным факультетам в поисках чего-то сверхинтересного: на искусствоведческом отделении истфака слушала курс истории искусств, на философском факультете — курс эстетики (впрочем, как и на филфаке, тоже марксистско-ленинской), перебирала разные спецкурсы — то занималась поэтикой Маяковского, то ранними формами религии, то современной африканской литературой, то русскими формалистами.

Вся эта карусель закончилась в 1962 году, когда я совершенно случайно попала на Симпозиум по структурному изучению знаковых систем, на котором самые разные явления культуры — от языка и литературы, живописи, музыки и кино до карточных гаданий, игр, баллад и мифов — рассматривались в рамках единого — знакового — пространства. Разумеется, поняла я тогда далеко не все, о чем говорилось в докладах. Скорее, интуитивно ощутила некое сходство с тем, что мне было знакомо по театру, где в каждом спектакле создается свой целостный мир путем синтеза разнообразных средств выразительности. Культурный шок заключался, однако, в другом: сам пафос выступлений убеждал в возможности строгого рационального описания изучаемых явлений, т. е. именно того, что я тщетно искала в МГУ.

Скоро, впрочем, выяснилось, что я просто плохо искала. В конце работы симпозиума разразился скандал: пришел кто-то из дирекции Института славяноведения, где проходили заседания, и кратко объяснил, что все идеи и методы, о которых шла речь, вредны и беспер-

спективны, не отвечают основным положениям... и т. д. и т. п. Возражения сидящих в президиуме организаторов (Вяч.Вс. Иванов, В.Н.Топоров) он выслушивать не стал, и тогда из рядов слушателей поднялся человек (среди докладчиков его не было) и заговорил о том, что структурные методы чрезвычайно полезны в фольклористике, которой он занимается, что недавно прочитанные им труды К. Леви-Строса показали, насколько они продуктивны при изучении первобытной мифологии и в этнографии. Вскоре я узнала, что это был Е.М.Мелетинский и что он недавно начал вести у нас на филфаке спецсеминар «Теория и история эпоса». Я пришла к нему на занятия и осталась с Елеазаром Моисеевичем навсегда, найдя в нем не просто научного руководителя, а учителя и друга на всю жизнь. Эпосоведом я не стала, но фольклористика с тех пор оказалась основной областью моих научных интересов.

Плавным мой путь в профессию (диплом — аспирантура — научное учреждение) не получился. После окончания университета я собиралась поступать в аспирантуру ИМЛИ, где Е.М.Мелетинский руководил сектором фольклора. Планам не суждено было сбыться: очередная волна нападков и упреков в космополитизме вынудила его уйти из сектора. Заменой аспирантуры и настоящей школой серьезной научной работы стал «домашний семинар Мелетинского» — своего рода лаборатория, в которой, отталкиваясь от «Морфологии сказки» В.Я. Проппа, в те годы почти забытой, отрабатывалась методика структурного изучения волшебной сказки. Каждую среду мы (Дима Сегал, Сережа Неклюдов и я) собирались у Елеазара Моисеевича и он предлагал нам для обсуждения свои наблюдения и предложения. Определяли возможные направления, которые позволили бы наиболее адекватно описать статические и динамические аспекты развертывания сказочного повествования, его модель, выделяли уровни анализа и их единицы. Мой вклад в коллективный труд касался в основном разработки принципов системного описания персонажей волшебной сказки, лишь в общих чертах намеченный в «Морфологии» В.Я. Проппа. Результатом этих занятий стали сначала коллективный доклад в Тарту на III Летней школе по вторичным моделирующим системам, которые регулярно собирал Ю.М. Лотман, а затем публикация двух больших статей в выпусках тартуской «Семиотики». Именно здесь шло овладение методическими принципами и аналитическими приемами, которые позднее я попыталась применить

к стадияльно и регионально иному материалу — к архаическим устным традициям народов Сибири. Выход на эту, «свою», тему был еще далеко впереди, но навыки работы в команде единомышленников, постоянная помощь, дружеское участие и поддержка которых сопровождала меня все последующие годы, чувство принадлежности к научной школе (структурная фольклористика) и научному направлению (семиотика культуры), придавали уверенность. Уникальность этой ситуации я отчетливо осознавала уже тогда.

2. Об изменениях. *Как Вы считаете: на Вашем интеллектуальном пути происходили только количественные изменения (накопление знаний) или также и качественные? Менялся ли Ваш исследовательский путь на протяжении всей Вашей жизни сколько-нибудь значительно?*

Менялись в основном жизненные обстоятельства, точнее — места работы, способствующие или препятствующие собственно исследовательской деятельности. Поэтому и сам «путь» был извилист и больше напоминал путешествие на байдарке по порожистой реке.

В 1966 году я попала на работу в редакцию эстетики издательства «Искусство». Эта редакция считалась «головной», «идеологической», что означало в те годы повышенный интерес к ее продукции со стороны начальства из Комитета по печати. Время было смутное: только что закончился процесс над Синявским и Даниэлем, шли разборки с «подписанцами», а после вторжения в Чехословакию специальный посланник из ЦК КПСС на общем собрании сотрудников издательства долго объяснял нам, что «плюрализма больше не будет». Примерно раз в три года (средний срок издания книги, начиная от заключения договора и кончая сигнальным экземпляром и выходом тиража) состав редакции предпочитали менять — какая-нибудь из книг оказывалась «вредной», и ее редактора увольняли. Выросшие во времена «оттепели», мы понимали: гадать, что будет идеологической ошибкой через три года, — бесполезно, а потому надо постараться успеть издать то, что нам представлялось наиболее ценным. Мне удалось продержаться два «срока» и издать несколько книг, которые сыграли важную роль в становлении моего научного мировоззрения (а, возможно, и не только моего).

Это, в первую очередь, был сборник «Ранние формы искусства» со статьями В.Н.Топорова, Вяч.Вс. Иванова, Е.М.Мелетинского, В.Б.Мириманова, С.Ю.Неклюдова, Д.М.Сегала, , Б.Л.Огибенина и др. Большое влияние, в полной мере до сих пор не реализованное, оказала на меня работа Л.Ф.Жегина «Язык живописного произведения», посвященная «обратной перспективе» в древнем искусстве (его доклад, кстати, был первым из тех, что я слушала на Симпозиуме по знаковым системам в 1962 году). Концептуальным развитием идей Жегина стала книжка Б.А.Успенского «Поэтика композиции». Она открывала серию «Семиотические исследования по теории искусства», в которой удалось издать только еще одну работу — книгу Ю.М.Лотмана «Структура художественного текста»; две другие — монография Вяч.Вс.Иванова «С.М.Эйзенштейн и современная наука об искусстве» и сборник «Семиотика искусства», которые я уже отредактировала и подготовила к набору, в типографию так и не ушли. Была закрыта и сама серия (книга Вяч.Вс.Иванова под названием «Очерки по истории семиотики в СССР» позже все же была издана в издательстве «Наука»). Чудом удалось издать работу А.Я.Гуревича «Категории средневековой культуры» (вызов «на ковер» в Комитет по печати последовал после ее выхода).

Сложности возникли и с книгой П.Г.Богатырева «Вопросы теории народного искусства». Сначала из-за того, что основные работы, вошедшие в сборник, были написаны им до войны, когда он жил в Чехословакии и активно использовал материалы чешских и словацких фольклористов. После оккупации Праги в 1968 году некоторые из этих людей вынуждены были уехать из страны. Чтобы не подвести меня, Петр Григорьевич рассказал мне об этом. Вопрос о выборе здесь не стоял: рукопись была уже набрана, сверстана, и извлекать ссылки на этих авторов из текста, убирать из списка цитированной литературы их фамилии означало только одно — ее не издадут. Поэтому мы решили, что лучше подождать, пока (когда?) списки этих людей дойдут до Главлита, а когда (если!) там догадаются сверить их с нашей библиографией, то либо вызовут меня и потребуют внести соответствующую правку (такой случай уже был с другой книгой), либо без всяких объяснений не пропустят ее в печать. Книга вышла. Новые сложности из-за нее возникли позже, где-то через полгода, когда общее количество моих «идеологических проколов» превысило критическую массу. Вина моя в данном случае состояла, однако, вовсе не в том, что я «проглядела» фамилии неблагонадежных чехо-

словацких фольклористов, а в том, что сам П.Г. Богатырев был когда-то «невозвращенцем», вместе с Якобсоном основал Пражский лингвистический кружок и вообще — формалист, а теперь еще и «пионер семиотики» — этой новой буржуазной лженауки... Короче говоря, меня выгнали — сначала из редакции эстетики, а года через полтора и из издательства.

Сейчас, когда прилавки книжных магазинов переполнены перво-классной литературой по всем отраслям гуманитарного знания, наверное, не стоило так подробно вспоминать «те битвы». Но на вопрос «Какую роль сыграли социальные и идеологические обстоятельства?» я ответила бы так: научилась их игнорировать, а когда это невозможно — пыталась им противостоять. Поэтому мне кажется, что мои (70-е) советские годы ничего у меня не отняли, а дали как раз очень много. Даже увольнение из издательства при всех сложностях последующего трудоустройства обернулось неожиданным благом: судьба вынесла меня из стремнины идеологических погромов и проработок в тишайшую заводь Всесоюзной комиссии по народному музыкальному творчеству при Союзе композиторов СССР.

Комиссия призвана была объединить немногочисленных в то время музыковедов-фольклористов, разбросанных по всем союзным республикам. Среди них, конечно, шли свои локальные войны, но меня — фольклориста, но не музыковеда, — они не касались. Вместо пухлых рукописей и бесконечных корректур, которые надо было срочно (пока не началось!) отправить в типографию, мне надлежало готовить к изданию маленький ежегодный Бюллетень, содержащий рефераты докладов на конференциях, семинарах и экспедиционных сессиях; время от времени надо было собирать из этих материалов тематические сборники статей. Поездки по всей стране, знакомство с фольклором многочисленных народов и народностей, контакты с носителями аутентичных фольклорных традиций, среди которых часто встречались подлинники мастера, собственные полевые исследования (экспедиции в Якутию, на Чукотку, в Приамурье) позволили дополнить мои в общем-то чисто теоретические исследования живыми впечатлениями и наблюдениями. Но, главное, появилась возможность вести свою собственную научную работу без всяких оглядок на конъюнктуру — «для себя» и «для своих».

Еще в издательстве под влиянием работ П.Г.Богатырева о народном театре ожило (но в совершенно ином ключе) мое юноше-

ское увлечение сценой: я решила попытаться рассмотреть камлания сибирских шаманов как своего рода «театр одного актера» и таким образом осуществить семиотический подход к шаманским обрядам, т. е. изучать материал, относимый обычно к области этнографии и религии, как связный «текст». Местом, где была апробирована эта статья, стала очередная школа в Тарту. Здесь пригодились и навыки описания структуры фольклорных сюжетов, и интерес к функциям фольклора в традиционных культурах, и наблюдения живого бытования фольклора в ходе экспедиций. Так — неожиданно для меня самой — разрозненные фрагменты мозаики собрались воедино.

Позднее семиотический подход открыл путь к изучению знаковой природы шаманских обрядов, позволил выявить их типы, вычленить их инвариантную композиционную схему и рассмотреть связи между внешней стороной камланий и их глубинной семантикой. Это, в свою очередь, дало возможность уточнить природу механизма, при помощи которого обряды регулируют социальное поведение в традиционных обществах, описать строение камланий в тех же терминах, в которых описывалось фольклорное повествование, более строго и последовательно представить как сходства, так и различия в разворачивании обрядовых и нарративных текстовых цепочек. Структурно-типологический анализ более широкого круга обрядов — календарных, хозяйственных, переходных — выявил их изоморфизм, а также тот факт, что в ряде сибирских традиций они до недавнего времени представляли собой целостные, иерархически организованные системы, членения которых определялись масштабом моделируемых при их помощи связей. В качестве структурных единиц обрядов различных жанров и различного назначения было предложено рассматривать магические действия, жертвоприношения и гадания, диалогическая и семиотическая природа которых аналогична коммуникативно-обменному характеру более масштабных обрядовых цепочек.

Следующей задачей стало рассмотрение коммуникативных аспектов функционирования вербальных и невербальных текстов устной культуры как источника коллективных представлений и верований. Здесь ключевым оказалось прагматическое измерение семиозиса: базовый для устных культур «межличностный» тип коммуникации служит в них не только для общения и трансляции культурных навыков, но еще и своего рода парадигмой, поро-

дающей целый ряд универсалий архаических верований как стандартизированных схем толкований, которыми пользуются носители традиции. Именно прагматическая структура и коммуникативные функции во многом определяют строение и жанровую специфику фольклорных текстов, проясняют целый ряд особенностей их бытования, позволяют истолковать народные классификации жанров архаического фольклора. Рассмотрение структуры текстов шаманской и нешаманской обрядовой поэзии, функций музыки в архаической культуре, внутриобрядового функционирования фольклорных повествований позволило сделать ряд наблюдений, касающихся поэтики архаического фольклора, классифицировать шаманские легенды по тематическим группам, вскрыть некоторые механизмы сюжетосложения (в частности, установить важную роль в этом процессе смены точек зрения), выявить типологию жанров нескладочной прозы.

Таким образом, надо признать, что и монография «Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опыт сопоставления структур», и два-три десятка основных статей — при всем разнообразии анализируемого в них материала и варьировании аспектов его рассмотрения — оказались сконцентрированы вокруг единого стержня, которым послужил структурно-типологический метод. Изменения диктовались в основном необходимостью осваивать смежные дисциплины (этнография народов Сибири, этномузыковедение, религиоведение, теория коммуникации, теория речевых актов и другие разделы лингвистики) и методику полевой работы, включая поиск наименее болезненных для информантов способов кинофиксации фольклорно-этнографического материала во время экспедиций.

Неизменным оставалось и остается одно: необходимость отдавать себе отчет в том, что, применяя методы различных дисциплин, необходимо настроить этот инструментарий таким образом, чтобы он соответствовал изучаемому материалу, был способен объяснить «странности» чужой для исследователя культуры и обнаружить в ней ее собственные закономерности.

Довольны ли Вы тем, что были последовательны (в осуществлении Вашей программы), или тем, что Вам удалось много меняться и попробовать разное?

Не довольна ни тем, ни другим: привычка «пробовать разное» сохранилась, но все чаще оборачивается разбросанностью, а последова-

тельная (упрямая?) приверженность структурно-семиотическому направлению иногда пугает нежеланием разбираться в новомодных тенденциях. Тем не менее я и сейчас глубоко уверена в том, что именно структурный метод позволяет изучать как универсальные закономерности вербальных и невербальных коммуникаций, составляющих основу любой традиционной культуры, так и специфические особенности различных этнических культур, и таким образом открывает возможность анализировать эти «иные» культуры, не навязывая им внешние интерпретации и толкования.

3. Об обществе и сообществе. Единственным стабилизирующим фактором всего моего интеллектуального пути были сотрудничество с Е.М.Мелетинским и С.Ю.Неклюдовым, их постоянное человеческое участие и деятельная научная поддержка. Пожаловаться на невнимание к своим работам со стороны более широкого круга коллег я не могу: они оказались в достаточной мере востребованы (монография переведена на немецкий, польский, частично — английский языки). Что касается адекватности оценок моих работ, то бывало всякое — от полного и категоричного неприятия до попыток подражания.

4. Об отношении к философии. Пожалуй, именно изучение философии в университете, необходимость сдавать госэкзамены и кандидатский минимум превратили ее для меня в нечто жестко навязываемое и потому лишённое всякой познавательной ценности. Читала нерегулярно и бессистемно. В свое время была увлечена работами Тейяра де Шардена, Вернадского, с удовольствием прочла «Слова и вещи» Фуко. Для выработки исследовательской стратегии важными оказались труды Леви-Строса, но его я воспринимала скорее как этнолога, а не как философа.

5. О науке и научности. Фольклористика — как и лингвистика, в отличие от многих других гуманитарных дисциплин, представляется мне скорее относящейся к сфере естественных наук, таких, например, как этология или теория коммуникации.

Компьютером пользуюсь в основном как усовершенствованной пишущей машинкой, но пытаюсь использовать его еще и для создания Банка фольклорной прозы малых народов Сибири — своего рода гиперсборника текстов, который мог бы стать толчком для

осуществления кросс-культурных исследований их устных традиций. Цель этого проекта — максимально полно представить различные жанры повествовательного фольклора (мифы, шаманские и охотничьи легенды, родовые предания, рассказы о встречах с духами, о путешествиях в иные миры, былички, видения, сны и другие тексты сказочной прозы), образцы которого разбросаны по многочисленным, но малотиражным и труднодоступным изданиям, частным коллекциям и архивам. Сейчас Банк содержит свыше 2000 фольклорных образцов общим объемом более 180 авт. листов. Возможно, этот материал можно будет обрабатывать формальными, в том числе и статистическими, методами, использовать его для создания указателя сюжетов и т. д.

Что касается М.М. Бахтина, то наиболее важным для меня стала его трактовка «высказывания» как единицы речевого общения, получившая затем развитие в лингвистической теории речевых актов. Именно она натолкнула меня на мысль о том, что в основе механизма, порождающего архаические верования (или «естественные религии», как их называли раньше), лежит «диалогическая реакция», которая, по очень точному выражению Бахтина, «персонифицирует всякое высказывание, на которое реагирует».

В какой мере гуманитарное знание может быть свободным от идеологии — от социальных обстоятельств, от общепринятых взглядов, явно навязываемых взглядов в те или иные периоды и проч.?

От идеологии может освободить стремление гуманитарного знания быть строго рациональным и ориентироваться на естественные науки. От социальных обязательств нельзя освободиться ни при каких обстоятельствах.

6. Чему имеет смысл учить студентов? Я имею дело преимущественно с аспирантами. Они, как правило, хорошо образованны, и мне остается не столько передавать им свои знания, сколько стимулировать их самостоятельный научный поиск.

Мой путь

В университетском дипломе, выданном в 1968 году, сказано, что мне «присвоена квалификация» «востоковед-филолог, референт-переводчик». Из этого списка я бы исключил лишь слово «референт». «Востоковед», конечно, слишком широкое определение — точнее было бы сказать «индолог», т. е. тот, кто занимается изучением Индии. Особенно мне дорого определение «филолог», буквально «любитель слов(а)». Я действительно люблю копаться в словах. В течение многих (еще «советских») лет предметом моих занятий была индийская словесность. Позже я пытался (и пытаюсь до сих пор) расширить круг своих профессиональных интересов, так что теперь я смею определять его как «сравнительное изучение культур».

Помню, что уже в 1988 году один мой коллега назвал меня «культурологом» («Ты так говоришь, потому что ты — культуролог»). Тогда это слово еще только входило в обиход и не было столь распространенным, как теперь. Тогда я лишь пожал плечами, теперь же я думаю, что это неблагозвучное слово будет рано или поздно изгнано из русского языка, так же как и слово «культурология», за которым стоит, по-моему, всего лишь некий фантом, некая фикция (для себя я называю ее «постсоветской лженаукой»).

О выборе пути. В моем случае «выбор пути» был первоначально сделан летом 1962 года (мне было 16 лет), когда я решил поступить (и поступил) в Институт восточных языков (ИВЯ) при МГУ (ныне — Институт стран Азии и Африки при том же МГУ). С тех пор мне не раз приходилось отвечать (и другим, и самому себе) на вопрос, почему я тогда захотел стать именно востоковедом и изучать Индию. В 1962 году на этот вопрос я отвечал (насколько помню) просто: «Меня очень интересует Индия». Позже я понял, что моя тогдашняя тяга к Индии (о которой я знал довольно мало) была своего рода неявной (и не вполне осознававшейся мной самим) формой протеста против окружавшей «советской действительности» — стремлением уйти от нее

куда-нибудь подальше. И в этом я не был оригинален. Ведь и сама европейская (западная) индология во многом создавалась (и до сих пор создается) теми, кто по той или иной причине, в той или иной степени хотел бы «отстраниться» от родной культуры (во всяком случае, от ее наличного состояния). Недаром одними из основателей современной индологии были немецкие романтики.

Рискуя уподобиться персонажу из анекдота, который в ответ на вопрос «Как поживаешь?» начинает рассказывать историю своей жизни, попробую обрисовать более широкий контекст и этого моего первоначального «выбора пути», и последующих «подтверждений» или «изменений» («коррекций») этого выбора.

То, что мы называем «гуманитарными науками», в гораздо большей степени, чем науки естественные, подобны искусству. Формы их существования (осуществления) во многом зависят от общекультурных, социально-политических условий. Соответственно формирование и деятельность каждого «отдельно взятого» гуманитария в большой (если не решающей) степени обусловлены местом, временем и обстоятельствами его жизни. Подобная обусловленность меня самого мне самому достаточно очевидна.

В истории российской индологии XIX–XX веков можно довольно четко проследить череду поколений¹. В этом смысле я принадлежу к поколению «детей (Второй мировой) войны», которые родились в 1941–1946 годы. В моем случае важно еще и то, что я родился и вырос в Москве, в семье небогатой и нечиновной, но достаточно благополучной и вполне «советской»: мои родители оба, как тогда выражались, «были членами партии», т. е. состояли в рядах КПСС; «советскую идеологию» они принимали очень всерьез и меня воспитывали в том же духе. Но, согласно известной формуле, «жизнь вносила свои коррективы».

В раннем, дошкольном детстве я застал еще культ Сталина — и даже один раз видел этого живого бога: во время Первомайской демонстрации 1951 года (мне было пять лет) отец пронес меня на плечах через Красную площадь, и я помахал рукой вождям, стоявшим на мавзолее. (Еще один раз я видел Сталина уже в гробу, внутри того же

¹ См. об этом мои статьи: *Серебряный С.Д.* Древнеиндийская словесность / Изучение литератур Востока. Россия, XX век. М., 2002. С. 372–402; *Серебряный С.Д.* Ю.Н.Рерих и история отечественной индологии / Петербургский Рериховский сборник. Вып. V. СПб., 2002. С. 20–77.

мавзолея.) Сталин был действительно объектом культа и веры, богом некой эрзац-религии. Это была религия моего детства, тогдашняя вера моих родителей и людей их круга. Утерев эту веру в отрочестве, я так и не смог примкнуть ни к какой другой, сколь бы истово и искренне ни верили в нее ее приверженцы. В марте 1953 года бог умер — и я до сих пор помню всеобщее горе, ощущение покинутости и чуть ли не конца света. А в сентябре я пошел в школу.

Мои школьные годы пришлось на «десталинизацию». В 1956 году сосед-ровесник сказал мне: «Оказывается, Сталин — предатель». Когда я был то ли в девятом, то ли в десятом классе (после XXII съезда КПСС) статую Сталина, все еще стоявшую в вестибюле школы, ночью разрубили на куски и зарыли в пришкольном саду (разумеется, по указанию начальства). Сравнение Сталина с Гитлером стало для моих сверстников привычным уже с конца 1950-х годов. Но столь же очевидным стало и то, что «десталинизация» была лицемерной и в лучшем случае половинчатой, а главный «десталинизатор», Н.С.Хрущев, в начале 1960-х стал создавать свой собственный «культ», хотя выглядел скорее шутком, чем богом. Неудивительно, что от такой «действительности» мне захотелось удрать куда-нибудь подальше.

Почему в Индию? Среди моих родственников и знакомых востоковедов не было. Мое любопытство к Индии объясняется скорее «стечением исторических обстоятельств». В середине 1950-х Хрущев начал «дружбу» с Республикой Индия. В тогдашних средствах информации (книгах, газетах, фильмах) Индия стала изображаться в весьма привлекательном свете: как страна древней культуры и особой мудрости. (Совсем иначе выглядел, например, Китай. Во времена моего детства и отрочества он ассоциировался прежде всего с официальными портретами председателя Мао, с унылыми группами приезжих китайцев в одинаковых синих кителях и с очень глупыми — даже по советским меркам — кинофильмами. Поэтому китайскую культуру я смог оценить гораздо позже.) В 1961 году широко отмечалось столетие со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861–1941), что было, конечно же, как сказали бы теперь, дипломатической «пиар-кампанией». Но в самой личности Тагора действительно было (и есть) много привлекательного. И это не могло не запасть мне в сознание.

Как я теперь понимаю, мои студенческие годы (1962–1968) пришлось на один из самых либеральных периодов в советской истории.

Но сначала в университете я почувствовал скорее разочарование. «Бегство от советской действительности» оказалось иллюзорным. ИВЯ при МГУ был вполне советским учреждением. Нам вдалбливали «марксизм-ленинизм» (тогда это называлось «общественные науки»), в который и сами преподаватели уже явно не верили. И еще была «военная кафедра», начальник которой (как я потом понял, человек вполне мирный и безобидный) выглядел как карикатура на Гитлера. Мы маршировали во дворе университета, а на классных занятиях офицер-преподаватель объяснял нам: «Прежде чем войти в блиндаж, надо бросить туда гранату, чтобы уничтожить все, что может оказать сопротивление». В те же осенние дни 1962 года Хрущев чуть не спровоцировал ядерную войну, завезя ракеты на Кубу. А потом его же славили как миротворца. В 1963 году Хрущев стал «разбираться» с интеллигенцией. Наша власть и ее «научная идеология» становились все более отвратительными. А 22 ноября 1963 года в Америке застрелили Джона Кеннеди. Мир был абсурден.

Помню, в начале 1964 года, после зимних экзаменов на втором курсе, я испытал нечто вроде депрессии. Но куда было деваться? Никаких более привлекательных и более достойных «путей» я не видел. Почти через двадцать лет, в начале 1980-х, в несколько похожей ситуации, у меня сочинились такие стихи:

Обстоятельства обступили
И проходу нам не дают.
Мордой об стол еще не били,
Но того и гляди побьют.

Предначертаны стежки-дорожки,
На которых кричать нам «Ура!»;
По одежке протягивать ножки
Все мы издавна мастера.

(Еще через двадцать лет, теперь, в начале нового века, эти стихи как будто вновь обретают для меня актуальность.)

Но в октябре 1964 года произошел очередной «дворцовый переворот», Хрущева с позором разжаловали в пенсионеры, и некоторое время (года три-четыре) казалось, как и прежде, в конце 1950-х, что вот-вот могут наступить новые времена. Настроения тех лет отчасти были похожи и на настроения второй половины 1980-х, после смерти Черненко и прихода к власти Горбачева. Разговоры стали свободней, будущее рисовалось в радужных тонах. На излете этого «периода ли-

берализации» я провел учебный год в Индии (с октября 1967 по июль 1968-го). Это была моя первая поездка за пределы СССР, настоящее «открытие мира» — не только Индии, но и всего остального мира, прежде всего — европейского, западного. Я жадно читал книги, прежде мне недоступные, жадно общался с людьми из разных стран, путешествовал по Индии и упивался острым чувством свободы. Помимо прочего, я понял, сколь мало настоящего знания об Индии и о мире дало мне мое университетское (советское) образование. Я утвердился в сознании важности и ценности моей специальности индолога и горел желанием, вернувшись в Москву, делиться с соотечественниками своими новообретенными знаниями об Индии. В индийских газетах я читал о прогрессе демократизации в СССР и об удивительных событиях в Чехословакии (о том, что было названо «пражской весной 1968 года»).

Но вскоре после моего возвращения в Москву советские войска оккупировали Чехословакию (для тех, кто не знает или не помнит: 21 августа 1968 года). Это событие ознаменовало начало того, что позже назвали «эпохой застоя». Необходимое реформирование советской системы было отложено почти на 20 лет. Для моего поколения эта отсрочка, эта затяжка была особенно болезненной, потому что пришлось на потенциально наиболее творческие годы жизни (от двадцати с небольшим до примерно сорока). Недаром многие мои сверстники (впрочем, как и люди других поколений) предпочли эмигрировать в 1970-х (когда это стало возможно). Поряду причин меня этот выбор не привлекал. Г.С.Померанц сказал мне в начале 1970-х: «Те, кто уезжает, ищут свободу там, а я хочу утвердить свою свободу здесь» — и я тоже пытался следовать этому принципу, хотя, как теперь понимаю, не слишком в этом преуспел. Попытки утвердить свою собственную свободу среди общей несвободы, не вступая в открытый конфликт с системой, да еще получая от нее же зарплату за якобы творческую работу, т. е. попытки как-то эту систему перехитрить, не могли не обернуться всего лишь более или менее успешным приспособлением (в моем случае скорее менее, чем более) к тому, от чего хотелось быть свободным. В конце 1980-х я с горечью резюмировал это так:

Долго из нескольких зол
Меньшее я выбирал.
Если пути не нашел,
Значит, не очень искал.

Конечно, жизнь имеет разные измерения. «Эпоха застоя» — это годы моей молодости. Были живы и более или менее здоровы мои родители. Я женился, жена родила нашего сына, т. е. жизнь приносила свои радости. Но от года к году общий контекст жизни становился все более гнетущим. «Зловещие старики» (цитата из «Горя от ума»), правившие страной, походили на персонажей какого-то трагического фарса. И всю глубину их маразма показало вторжение в Афганистан, которое и стало началом их конца.

М.С.Горбачев, как Н.С.Хрущев, сначала возбудил много надежд, но вскоре сам же их во многом и предал. В случае Б.Н.Ельцина этот привычный процесс оказался еще более быстрым и грубым. Теперь наша жизнь, хоть и во многом иная (и во многом, несомненно, лучшая), чем прежде, снова нередко смахивает на какой-то трагический фарс. О том, какие изменения претерпел за все эти годы мой первоначальный «выбор», лучше повести речь в ответах на последующие пункты анкеты.

Возвращаясь ко второму вопросу первого пункта, я вряд ли могу назвать какие-то определенные книги, особым образом повлиявшие на меня. Я читал все то, что читали советские школьники моего поколения. Дома у нас не было большой библиотеки, унаследованной от прошлого, хотя и имелся определенный минимум книг: собрания сочинений А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого. Больше книг (как и у многих других) появилось к концу 1950-х, среди прочего — различные собрания сочинений русских и (особенно) иностранных писателей, которые до сих пор можно увидеть во многих российских домах. Правда, лет в 13 я обнаружил на старом платяном шкафу сложенные штабелями тома первого издания Большой советской энциклопедии. Особенно интересны были тома, изданные еще в конце 1920-х. Невольно сличая тома различных лет выпуска, я не мог не замечать расхождений во взглядах и оценках. Это были первые уроки скептицизма и исторического мышления.

Не могу сказать, чтобы какие-то конкретные люди повлияли на мой первоначальный востоковедный выбор. Родственники и знакомые большей частью отнеслись к этому выбору скептически. Родители — тоже. Но они воспитывали меня в свободе — и тут не стали никак на меня «давить» или препятствовать моему выбору.

Впрочем, оглядываясь назад, я теперь думаю, что косвенное влияние на мой востоковедный выбор оказал один из моих дедов. Он был

еврей, получивший смолоду и традиционное еврейское, и неплохое русское образование. Он родился и большую часть жизни прожил в Москве и по-русски говорил лучше многих русских. Другой мой дед, русский крестьянин, погиб в Первую мировую войну. Дед-еврей родился в 1889 году (умер в 1970), т. е. принадлежал к тому поколению, которое дало, среди прочего, нескольких крупнейших русских поэтов XX в.: Анну Ахматову, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Марину Цветаеву, Владимира Маяковского... Люди этого поколения успели сформироваться, получить образование и даже повидать мир еще до 1914 года, так что тем, кто не погиб рано, хватило «запаса прочности» на многие советские годы. Мой дед в 1911 году некоторое время учился (кажется, медицине) в Цюрихе и позже рассказывал мне, что слушал в тамошних кафе выступления Плеханова и Ленина. По его словам, Плеханов ему нравился больше, а Ленина тогда особенно всерьез не принимали. Сам дед высшего образования, кажется, так и не получил и большую часть жизни проработал совслужащим средней руки, но квартира его (он жил отдельно от нас) всегда была полна диковинных книг и словарей. С детства он знал древнееврейский и идиш (который, впрочем, презирал). Немецкий для него тоже как будто не был иностранным языком. На английском он во всяком случае читал. А когда вышел на пенсию, занялся скандинавскими языками и стал подрабатывать техническими переводами со шведского и датского. На примере деда я увидел, что обычный человек (а дед был человек вполне обычный) может изучать и знать много разных языков, причем даже очень экзотические (древнееврейский мне всегда внушал некий трепет). Наверное, это как-то сказалось на моем решении пойти учиться в Институт восточных языков.

Об изменениях. Вопросы в этом пункте подразумевают, во-первых, весьма серьезное отношение респондента к значимости своей научной карьеры, а во-вторых, несколько идеализированное представление о работе большинства гуманитариев как в советское, так и в постсоветское время.

К своим «научным достижениям» я не могу относиться слишком серьезно (хотя всегда к каждой конкретной работе старался подходить с максимальной серьезностью), потому что понимаю, что моя «научная деятельность» почти всегда была обусловлена не столько какими-либо моими устремлениями к высоким целям («установление истины», «приращение знания» и т. д.), сколько внешними об-

стоятельствами, к которым я вынужден был применяться, хотя и пытался сохранять при этом честность и самоуважение. Это не исключает, впрочем, и того, что на моем «интеллектуальном пути» происходили качественные изменения, т. е. что я, говоря проще, со временем умнел и научался работать более изощренно.

После окончания ИВЯ в «судьбоносном» 1968 году я несколько месяцев проработал в Отделе Востока Института философии АН СССР. Из Индии я привез большой интерес к тому, что называют «индийской философией». Мне тогда казалось, что изучение определенных («философских») индийских текстов откроет мне (и другим) какие-то новые просторы знания и мудрости. Но вскоре один из сотрудников Отдела Востока, занимавшийся как раз «индийской философией», отвел меня в сторонку и сказал: «Уходите отсюда. Вас интересует наука. А мы занимаемся конъюнктурой». Мне даже не пришлось самому принимать решение: начальство довольно скоро меня «ушло».

Один год, с весны 1969 по весну 1970-го (до сих пор жалею, что не дольше), я проработал в Отделе Востока Фундаментальной библиотеки общественных наук (ФБОН) АН СССР, при мне переименованной в ИНИОН. За этот год я прочитал и проглядел много умных книг и статей по разным общественным и гуманитарным наукам. В том же отделе тогда работал Григорий Соломонович Померанц, общение с которым (почти ежедневное) также дало мне немало.

Вследствие фракционной борьбы между тогдашними советскими востоковедами (о которой я узнал лишь много позже) в Институте мировой литературы (ИМЛИ) им. А.М. Горького АН СССР тогда расширился сектор литератур Азии и Африки. Мне предложили место в аспирантуре, а потом и должность младшего научного сотрудника — и я не устоял перед соблазном. Более двадцати лет, охватившие и «эпоху застоя», и «перестройку» (вплоть до 1992 г.), я проработал в ИМЛИ и приспособливал свои интересы к нормам и установкам той, как я теперь понимаю, довольно искусственной дисциплины, которая получила у нас в советское время название «литературоведение» (это, несомненно, перевод-калька немецкого слова *Literaturwissenschaft*). Полностью приспособиться к ИМЛИ и «литературоведению» мне так и не удалось. Чем дальше, тем больше я ощущал себя там чужаком, посторонним. Чем дальше, тем яснее я осознавал, что подлинное изучение культуры как целого, особенно несвоей, чужой культуры (в моем случае — индийской) невозможно в узких пре-

делах какой-либо одной гуманитарно-научной дисциплины, сложившейся в рамках европейской традиции (да еще и огрубленной, как «литературоведение», в советских условиях).

Весной 1992 года вместе с несколькими другими коллегами-иммигрантами я перешел на работу в РГГУ, в только что созданный ИВГИ. Как и для всей страны, для меня начался новый период жизни. В плане научной деятельности это был период ухода от прошлого — к чему-то иному, что не имело (и, пожалуй, до сих пор не имеет) ни четких очертаний, ни определенного имени. ИВГИ оказался во многом удачным экспериментом, хотя он, очевидно, и не оправдал всех возлагавшихся на него надежд (надежд, как теперь ясно, слишком наивных и оптимистичных). Но история ИВГИ требует особого рассмотрения. Это уже не просто история моего «индивидуального пути». Мне же лично остается надеяться, что впереди у меня еще есть какое-то количество лет для осмысленной и плодотворной работы.

[Здесь я мог бы написать еще о своем личном опыте перехода от советского времени к постсоветскому, но боюсь, что и так сильно превысил объем.]

Об обществе и сообществе. Мой жизненный путь достаточно обычен для людей моего поколения. Как и многие другие, я часто был и ощущал себя маргиналом — и в обществе в целом, и в «научном сообществе».

В советское время была поговорка (которую я впервые услышал от известного гляциолога.): «Наука — это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет». Вероятно, горький смысл этой поговорки заключался в том, что научные исследования у нас были зачастую мало связаны с нашей реальной жизнью — не «внедрялись» в нее, не улучшали ее сколько-нибудь явным образом. Что касается моих собственных занятий, то, с одной стороны, я никогда не терял уверенности в том, что изучение индийской культуры — это (в принципе, в идеале) не просто моя личная забава, удовлетворение моего личного любопытства, а дело вполне общественно полезное. Но, с другой стороны, довольно скоро мне стало ясно и то, что «производство» подлинного знания об индийской культуре в советских условиях или вообще невозможно, или очень затруднено. Советская система готова была воспринимать почти любую информацию только на своем собственном искусственном, идеологически предзадан-

ном языке (эта закрытость для подлинной информации в конце концов и была одной из важных причин краха данной системы). Поэтому, чтобы существовать в качестве официально признаваемого индолога и получать за это зарплату, я должен был находить такие сферы и формы «научной» деятельности, которые по крайней мере не слишком раздражали бы начальство и не вступали бы в открытый конфликт с «единственно научной идеологией». Иными словами, мои «научные» занятия в течение многих лет были своего рода компромиссом между, с одной стороны, моим стремлением заниматься чем-то более или менее реальным и не терять самоуважение и, с другой стороны, идеологическим давлением системы. (Насколько я могу судить, в таком же положении были и многие мои коллеги. Помимо всего прочего, подобные условия существования «науки» мало способствовали развитию каких-либо «научных сообществ». Скорее каждый приспосабливался по-своему, как мог, по одиночке.) Подобная «наука» с годами все меньше меня удовлетворяла.

К тому же оплачивалась эта «наука» не слишком щедро (впрочем, большего она вряд ли заслуживала). Зарплата едва обеспечивала минимальный жизненный уровень. Поэтому я довольно много занимался переводами, хотя и старался переводить то, что хоть как-то вписывалось в мои индологические интересы. Так, например, я перевел с бенгальского два романа современного писателя Шубхаша Мукхопадхя (1919–2003) — о жизни бенгальских коммунистов. Переводы помогали мне «держаться на плаву» и в постсоветское время, только теперь заказы поступали не от издательства «Прогресс», а от «Фонда Сороса» (разумеется, я искренне благодарен обеим организациям).

Ни к какой четко оформленной «научной группе» или «школе» я никогда не принадлежал (да, пожалуй, и не было вокруг меня подобных «школ»), хотя на протяжении большей части своей научной карьеры работал рядом и вместе с людьми, которые были мне по-человечески симпатичны (и которые, насколько я могу судить, относились ко мне так же, как я к ним). К мнениям этих людей я всегда прислушивался, даже если с ними не соглашался. Общение с коллегами — это, несомненно, важная часть научной работы.

Мой жизненный опыт научил меня тому, что надо отделять человеческие отношения от научных проблем. Ученым свойственно не соглашаться друг с другом — особенно, может быть, ученым-гуманитариям (и в этом они похожи на людей искусства). Если бы мои несо-

гласия по научным проблемам с тем или иным (той или иной) коллегой я всегда доводил бы до разрыва человеческих отношений, у меня не осталось бы друзей среди коллег. Мои друзья-коллеги знают эту мою установку и поэтому довольно терпимо относятся к моим критическим замечаниям в адрес их идей и работ, всегда помня, что моя критика никак не отражается на наших дружеских отношениях.

Часто получалось так, что то, что меня действительно и сильно интересовало, не находило ни одобрения, ни отклика у коллег — и мне приходилось додумывать те или иные идеи в одиночестве. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Но иногда я видел, что та или иная моя мысль, та или иная работа воспринята и положительно оценена коллегами. Это всегда доставляло мне большую радость. Ученый-гуманитарий, конечно, не может и не должен работать «в пустоте». Ему нужна «аудитория» — коллег, студентов (аспирантов) или просто читателей. Мне трудно было бы подсчитать, что больше стимулировало мою работу: «собственные размышления, контакты с коллегами или вопросы непрофессионалов». Думаю, что имели значение все три названных источника.

Мой опыт склоняет меня к мысли, что в гуманитарных науках нет смысла стремиться к созданию каких-либо «школ», «направлений» и т. д. Деятельность, творчество ученого-гуманитария — это дело весьма индивидуальное, не терпящее каких-либо общих рецептов. По моему, действительно крупный ученый всегда уникален, неповторим, не сводим к общим категориям. По моим наблюдениям, стремление принадлежать к какой-то «школе» — это скорее признак неуверенности в себе, в собственных силах. Подобное стремление нередко оборачивается просто эпигонством. Преемственность в науке обеспечивается скорее «отталкиванием» учеников от учителей, чем «следованием по стопам». Ученик, по моему, должен учиться у учителя быть прежде всего самостоятельной творческой личностью. Это внушал мне, среди прочего, и мой первый университетский учитель, Юрий Константинович Щеглов. Я многим ему обязан: многому у него научился и в течение многих лет от него «отталкивался».

Что касается вопроса о «разных регистрах общения с читателем», то я согласен с подсказанной мыслью о необходимости «вырабатывать разные стили и приемы общения с разными аудиториями и читателями». Может быть «наука только для ученых (своих, узких специалистов)», но наряду с ней должна быть и «наука для начинающих», «наука для смежников», «наука для широкого читателя» и т. д.

По-моему, привычка создавать только тексты «эзотерические», «для узкого круга» пагубна и для индивидуального развития ученого, и для науки в целом. Время от времени полезно пытаться выразить свои научные мысли (даже самые специальные) общепонятным языком. У меня есть опыт в этой области — и некоторыми своими более «популярными» текстами я горжусь не меньше, чем достижениями самыми специальными.

Об отношении к философии. Во время учебы в МГУ нам, как и всем, «читали» «диалектический материализм» и «исторический материализм». «Диамат» нам читал преподаватель по фамилии Журавлев (к стыду своему, я не запомнил его имени и отчества). Но, как я уже сказал, время было либеральное, и Журавлев на самом деле под видом диамата скорее прочитал нам курс по философии науки. Так, например, он рекомендовал нам книгу Ф. Франка «Философия науки» (изданную к тому времени в русском переводе с грифом «Для научных библиотек»). Я с благодарностью вспоминаю этого преподавателя². А истмат нам читал какой-то занудный догматик (даже не помню его фамилии). Ничего, кроме скуки и отвращения, подобная «философия» вызвать не могла.

В университетские годы я с увлечением читал книги Бертрانا Рассела (в русских переводах). Позже круг моего философского чтения расширился, но читал я уже больше на английском. Современные русские философские тексты меня большей частью отталкивали. В 1990-е годы я открыл для себя работы современного американского философа Ричарда Рорти (и даже перевел на русский язык несколько его статей). Тексты Рорти привлекли меня широтой и свободой подхода к философии — как к исторически сложившейся форме рассуждений в западной культуре. Я думаю, что философствование Рорти важно для нас теперь как антидот против въевшихся в нашу плоть и кровь ядов «советского марксизма». Хотя, разумеется, мышление Рорти во многом обусловлено спецификой американской ситуации и не может (не должно) некритически пересаживаться на российскую почву.

² Подробнее см. мой очерк: *Серебряный С.Д.* «Тартуские школы» 1966–1967 годов (Заметки маргинала) / Московско-тартуская семиотическая школа. История, воспоминания, размышления / Сост. и ред. С.Ю.Неклюдов. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 122–132.

Ученому, работающему в той или иной специальной области гуманитарного знания, философия, на мой взгляд, и нужна, и полезна — но не как насильственно навязываемая «система» (будь то марксизм, или «православная философия», или что-либо еще), а как школа свободного и строгого мышления об общих проблемах, в частности — об общих проблемах научного познания.

Вопрос о том, «является ли сама философия наукой хотя бы отчасти», зависит от понимания слова «наука».

Русское слово «наука» употребляется, как известно, в разных смыслах. В одном словоупотреблении (восходящем к немецкому слову *Wissenschaft*) «наука» — это любой более или менее организованный массив знаний (плюс, может быть, методы по расширению, увеличению этого массива). В этом смысле философия (по крайней мере некоторые ее разновидности) может заслуживать имени «наука». Но в другом словоупотреблении (восходящем к английскому слову *science*) «наука» — это прежде всего (если не исключительно) изучение природы с помощью экспериментальных методов. В этом смысле практически никакая философия «наукой» названа быть не может.

Слово «наука», как и слово «философия», относится, по-моему, к тому разряду слов, которые по-английски называются «umbrella terms», буквально «термины-зонтики»: это такие слова, которые, как большие зонтики, укрывают собой много разных смыслов.

Мне лично по душе понимание философии, предлагаемое Берtrandом Расселом: как некой пограничной области между наукой (достоверным, эмпирическим знанием) и «не-наукой», «не-знанием». В таком понимании философия — это попытки человеческого разума заглянуть в те сферы, о которых он не может (пока?) добыть достоверного (научного) знания, но в которые не может (по тем или иным причинам) не заглядывать. Но я готов допустить, что это не единственное из возможных определений (описаний) философии.

В своих индологических занятиях я с годами все больше и больше ощущал необходимость анализа и основных понятий (терминов), и исходных предпосылок своей исследовательской работы. Но моими коллегами это большей частью воспринималось с непониманием и даже раздражением — как досадное педантство. Мои коллеги обычно предпочитали подобными вопросами не задаваться.

Мне кажется, что многие ученые-гуманитарии (если не большинство из них) работают скорее «стихийно», «спонтанно», редко отдавая себе отчет в том «методе познания», который лежит в основе их научной деятельности. Хорошо это или плохо? Наверное, многое зависит от личности ученого. Кто-то и на путях «стихийного» творчества может получить замечательные результаты. А кто-то, увлекшись самоанализом, может (как сороконожка из притчи) на нем и застрять. Здесь, как и в других случаях, вряд ли полезны общие рецепты. Конкретно в нашей ситуации — ситуации «смены парадигм» — нам, по-моему, нужно именно больше рефлексии о самих основаниях нашей научной деятельности³. Но я отнюдь не призываю к тому, чтобы каждый предавался этому занятию. Здесь, как и в других случаях, приоритет должен оставаться за свободой личности, за свободой творчества.

О науке и научности. Границы между дисциплинами сейчас более, чем когда-либо, условны и подвижны (текучи). Столь же условно понятие «одна дисциплина». Индология же (как и вообще востоковедение) всегда была комплексом дисциплин (или комплексной дисциплиной). Лозунг дня — междисциплинарность (хотя вряд ли кто-нибудь может точно определить, что это такое).

Вопросы о природе науки и о различиях между науками естественными и гуманитарными — слишком сложны, чтобы удовлетворительно здесь на них ответить. Но попробую вкратце высказать свою точку зрения.

Если под «наукой» понимать вообще человеческую деятельность по добыче (производству) достоверного знания для выработки более или менее надежных предсказаний (предвидений) последствий тех или иных событий и поступков — будь то в мире неодушевленной природы, в мире животных или в мире людей, то подобную деятельность можно считать в основе своей единой. Другое дело, что способы получения достоверного знания и пределы надежности предсказаний в разных областях могут оказаться различными. Но я не уверен, что следует говорить именно о «двух разновидностях науки» — почему не о трех или пяти?

Главный критерий «научности» для меня — именно достовер-

³ Подробнее об этом см. мое эссе «О “советской парадигме”» (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 43).

ность, проверяемость получаемых знаний. Но особенность так называемых «гуманитарных наук» в том, что они, по-моему, гораздо более непосредственно, более явно, чем науки естественные, связаны с человеческим целеполаганием.

Ученый-естественник может (до поры до времени) не задаваться вопросом о смысле (цели) своей деятельности: в естествознании (сложившемся в новоевропейской культуре) была изначально заложена определенная цель — познание природы (ее «законов») ради интересов человека (человечества). Разумеется, мы уже знаем, что на самом деле тут много проблем. В чем именно состоят интересы человека (человечества)? Кто эти интересы вправе формулировать и утверждать как общезначимые? Всякие ли природные процессы имеют смысл исследовать? Должен ли человек установить некие границы изучения (и изменения) собственной природы? И т. д. и т. п.

Ученый-гуманитарий гораздо быстрее и чаще «выходит» к проблемам целеполагания. Для чего он изучает то, что изучает (если отвлечься от конкретных целей: сдачи экзаменов, написания дипломной работы, диссертации и т. д.)? В чем смысл того или иного конкретного исследования (помимо получаемого от него личного удовольствия) и данной гуманитарной науки в целом? Отсюда недалеко и до самых общих вопросов о «смысле жизни». Недаром в число гуманитарных наук включена философия, «ведающая» самыми общими проблемами — в том числе проблемами целеполагания и смысло-созидания. Традиционные религии (в Европе — христианство, в других странах — ислам, буддизм и т. д.) претендовали и претендуют на то, что могут дать ответы на все общие (фундаментальные) вопросы. У нас, в советское время, на подобную роль претендовал марксизм-ленинизм. Но в наше время ответы традиционных религий и эрзац-религий вроде марксизма-ленинизма, по-моему, нельзя воспринимать вполне всерьез и буквально, без дополнительных истолкований. В современном обществе именно гуманитарные науки (наряду с искусством, с которым они тесно связаны) берут на себя — или по крайней мере должны брать на себя — ту функцию, которую прежде осуществляли религии: функцию определения и формулирования тех целей и смыслов, которыми руководствуется общество.

Но здесь уже не вполне «работает» сформулированный выше критерий научности. Одно дело — знание о грамматической структуре того или иного языка, о понятийной структуре той или иной религии или о социальной структуре того или иного общест-

ва. И совсем другое дело — «знание» о той или иной цели человеческого существования, о тех или иных идеалах (ценностях, принципах) общественного устройства. В последнем случае критерий «достоверности» далеко не всегда «сработает». Здесь речь должна идти о свободном выборе или, по крайней мере, о вероятностных оценках последствий того или иного выбора: например, каковы наиболее вероятные последствия выбора тех или иных ценностей (принципов) общественного развития.

Иначе говоря, понятие «научность» (во всяком случае, в гуманитарных науках) само есть предмет (научного?) исследования.

Соотношение философии и филологии — важнейшая и интереснейшая проблема, о которой я думаю и о которой надеюсь написать.

«Новые технологии» играют в моей работе большую роль. Компьютером я пользуюсь (правда, в основном как пишущей машинкой и «архивом») вот уже более 10 лет. Интернетом тоже иногда пользуюсь, но не слишком часто. Там все-таки много «мусора».

«Структурализм» (как «марксизм», «семиотика» и др.) — это тоже «термин-зонтик». У нас он вошел в моду в 1960-х годах как форма оппозиции официальному марксизму. К сожалению, и тогда, и позже структурализм у нас воспринимался нередко столь же догматически, как до того марксизм и как позже разные другие западные «измы» (по известной формуле Ивана Карамазова: «Что на Западе гипотеза, то у наших мальчиков сразу — аксиома»). Теперь то, что было лишь преходящей модой, то и умерло, а что было дельно («рациональное зерно»), то не могло не остаться с нами, пусть и под другим именем. Мне кажется, что провозглашать себя каким-нибудь «истом» («структуралистом», «марксистом», «феминистом», «постмодернистом»...) — это признак некоторой узости мышления.

М.М.Бахтин, несомненно, очень интересный и достойный автор, человек героической судьбы. Но «не сотвори себе кумира». Тексты Бахтина принадлежат своему времени (точнее даже нескольким разным временам), и их истолкование требует достаточно сложного герменевтического подхода. Некритическое отношение к Бахтину столь же неприемлемо, как некритическое отношение к Карлу Марксу или Клоду Леви-Стросу⁴.

⁴ Подробнее свое отношение к текстам М.М.Бахтина я изложил в эссе: «Роман как предмет (и предлог для) философствования» в книге: *Серебряный С.Д.*

Проблемы влияния идеологии (в разных смыслах) на гуманитарно-научные исследования — это сложнейшие и много обсуждавшиеся проблемы. О давлении идеологии извне я уже написал выше. Не менее серьезна проблема искажающих воздействий той (часто неосознаваемой) идеологии, которая кроется в душе самого исследователя. От этой «внутренней» идеологии невозможно (да, вероятно, и не нужно) до конца избавляться. Следует лишь максимально четко осознавать свои «предпонятия», чтобы они не мешали — а в идеале и помогали (см. герменевтику Г.-Г. Гадамера) — исследованию. Сейчас, когда практически нет идеологических давлений извне, именно эта проблематика «внутренней» идеологии выходит на первый план.

Что касается «внешних давлений», то сейчас они имеют в основном экономический (финансовый) и психологический характер. Государство действительно не оказывает на нас (пока?) почти никакого идеологического давления. Но все же есть некоторое сходство между ситуацией в «эпоху застоя» и ситуацией нынешней. Тогдашняя правящая элита построила (как тогда говорили) «коммунизм для себя», а ученым-гуманитариям, не желавшим активно прислуживать «хозяевам жизни», была оставлена роль маргиналов (и в социальном, и в экономическом смысле). Теперешняя правящая элита построила (или думает, что построила) «капитализм для себя», а ученым-гуманитариям (разумеется, как и другим социальным группам), не задействованным в непосредственном обслуживании новым «хозяевам жизни», опять досталась роль маргиналов. Что ж, не привыкать.

Что до постмодернизма (еще один термин-зонтик), то я для себя понимаю это слово примерно так, как его толковал Жан-Франсуа Лиотар: как полную дискредитацию всех «больших нарративов» (более по-русски можно сказать: «больших баек»), т. е. всех прежних (традиционных) (псевдо)глобальных и суперавторитетных объяснений мира. Из этого для меня не следует, что надо отказаться от стремления объяснять мир в целом и отдельные его части (скажем, Индию или Россию). Речь идет именно и всего лишь о том, что нет никаких готовых объяснений — и это, с одной стороны, дает чувство свободы, а с другой, накладывает огромную ответственность.

Последний вопрос в этом разделе — о «современном состоянии Вашей науки — в России и на Западе». Ответ на этот вопрос следует разделить на по крайней мере три части.

Роман в индийской культуре Нового времени. М., 2003. С. 9–63 (Чтения по истории и теории культуры. Вып. 37).

В наши дни моя «узкая» специальность, индология, довольно бурно развивается — и в мире в целом, и даже в России. Не берусь судить, происходит ли какая-нибудь «смена парадигм» в зарубежной индологии. Во всяком случае, там налицо интенсивное вторжение новых, в основном компьютерных, технологий. И, насколько я могу судить, усиливается тенденция сочетать традиционные историко-филологические («текстовые») исследования с исследованиями «полевыми», культур-антропологическими. В этом отношении мы сильно отстаем от Запада, потому что наши индологи до сравнительно недавнего времени не имели возможности достаточно часто посещать «страну изучения». Если индология будет и впредь развиваться в России, то нам надо будет, разумеется, не только внедрять новые технологии, но и во многом «менять парадигмы». Впрочем, это слишком сложная и специальная тема, которой здесь невозможно воздать должное.

Если же говорить о той «науке», которую я выше назвал «сравнительным изучением культур» (иногда говорят: «сравнительное культуроведение»), то она (опять же насколько я могу судить) и на Западе не слишком развита, и у нас лишь начинается.

Наконец, если говорить о гуманитарных науках в целом, то, помоему, несомненно, что они переживают у нас сейчас переходный (чтоб не сказать «кризисный») период. Прежние «парадигмы» или дискредитированы, или исчерпаны, или просто устарели (поскольку сложились и были «приспособлены» к «подлости» советского времени). Новые «парадигмы» только нащупываются. В течение последних десяти-пятнадцати лет поток новой информации и новых идей, обрушившийся на нас, был и остается столь велик, столь мощен, что наше «научное сообщество» не успевало и не успевает всю эту информацию и все эти идеи должным образом воспринимать и усваивать.

У наших гуманитариев давно уже нет даже общего языка. Мы нередко просто не понимаем друг друга, поскольку ориентируемся зачастую на очень разные образцы (иноземные или отечественные), так или иначе приспособливая их — каждый на свой лад — к родной «почве» и/или к своей индивидуальности. И такая ситуация, очевидно, будет существовать еще довольно длительное время. Ее невозможно преодолеть или отменить неким волевым решением, неким «декретом», который бы учредил обязательные для всех нормы «научности». Как я уже написал выше, само понятие «научность» доста-

точно проблематично и должно составлять предмет (научных же) исследований. Мне лично подобная ситуация скорее по душе, потому что это ситуация свободы, а у меня еще свежи воспоминания о несвободном советском времени. Конечно, свобода, как мы теперь слишком хорошо увидели на собственном опыте, отнюдь не всегда «сладка», но вряд ли многие из нас хотели бы обменять ее на «сладость» прежнего порядка.

Свобода требует от нас и смелости, и максимальной открытости к новому, незнакомому, чужому, и максимальной терпимости — даже к тому, что поначалу может показаться слишком странным и неприемлемым.

Но свобода предполагает и бескомпромиссную интеллектуальную честность, готовность подвергнуть нелицеприятному анализу любую мысль, любой принцип, любую (даже самую любимую) ценность. Разумеется, свобода науки несовместима с какими-либо догмами, сколь бы дороги они ни были той или иной части общества.

Из сказанного следует также, что можно поставить под сомнение и сам принцип свободы, в частности — свободы науки. Есть мнение (достаточно правдоподобное), что свобода вообще и свобода интеллектуальная, свобода научного поиска скорее пагубны, чем благотворны для человечества в целом. Но каковы альтернативы свободе? Кому можно доверить такие «корректировки» свободы — в обществе и в науке, — которые не привели бы к еще более пагубным последствиям? Сегодня вряд ли у кого-либо есть универсальные и убедительные для всех ответы на подобные вопросы⁵. Всегда находятся «авторитеты», которые якобы знают, «что есть истина» и каким именно образом ее следует претворять в жизнь. Но наш опыт (как и опыт остального человечества) свидетельствует о том, что подобным «авторитетам» следует доверяться с большой осторожностью. Сколь ни парадоксально это звучит, но проблема оптимальных «корректировок» свободы может быть разрешена лишь в результате свободного

⁵ Конечно, в частных случаях, в конкретных ситуациях ответы на подобные вопросы вполне возможны. Так, свобода автомобилиста ограничивается правилами дорожного движения. Западные общества в течение веков выработали политические механизмы, которые лучше или хуже, но позволяют сочетать свободу личности с разумными ее ограничениями. В обоих случаях речь идет об эмпирически выработанных компромиссах, которые опираются не на некий «внеопытный авторитет», а на «общественный договор».

(научного) поиска. Человечеству в целом и ученым-гуманитариям в частности не остается ничего иного, кроме как идти на ощупь, полагаясь на то, что называется здравым смыслом.

Чему имеет смысл учить студентов? Мой опыт преподавания в РГГУ за последние примерно десять лет подсказывает мне такой список приоритетных направлений.

а) Студентов надо учить иностранным языкам, прежде всего основным западноевропейским — английскому, немецкому, французскому. Наши гуманитарные науки много пострадали оттого, что два или три поколения очень плохо или совсем не знали иностранные языки. Русский же язык за советские годы сильно пострадал и даже, рискну сказать, «отстал в своем развитии», так что нередко он оказывается не вполне адекватным инструментом для описания и анализа современных проблем и современных идей⁶.

б) Но именно поэтому не менее важно учить студентов обращению с русским языком — ради его «дальнейшего совершенствования». В частности (а может быть, и в первую очередь), студентов надо учить *писать* по-русски. Сейчас даже аспиранты зачастую не могут четко и ясно выразиться письменно на родном языке. Вероятно, в этом сказались недостатки нашего школьного образования.

в) Студентов надо учить самостоятельно мыслить — не ориентироваться на те или иные авторитеты или следовать тем или иным образцам, а именно думать самим, своими мозгами. По моим наблюдениям, многие студенты в РГГУ более или менее умеют (еще со школы?) пересказывать чужие мысли и составлять компиляции из чужих текстов, но задание написать только и именно то, что знаешь и думаешь сам(а), нередко оказывается почти непосильным.

г) И в силе должно остаться известное правило: в университете учатся не только и не столько знаниям, сколько тому, как добывать знания.

Что еще Вам бы хотелось успеть сделать в жизни? Я хотел бы еще успеть написать несколько книг.

⁶ Подробнее см. мое эссе «О “советской парадигме”».

Между философией и филологией

О профессии. Моя профессия — на стыке между филологией и философией. В слове мне интересно — понятийное (и все то, что его оттеняет, — образное), а в понятии — словесное (то, что выразимо и может быть передано, — более чем откровение и интуиция). В последнее время это привело к главному для меня вопросу — о языке философии, особенно о развитии русского концептуального языка, скованного марксистской догматикой в течение 70 лет. Мои французские коллеги начинали с четкого аналитического языка понятий, а сейчас ищут для себя новой стилистики, сближающей философию с метафорическим языком поэзии. Я — наоборот: в моей стране философская аналитичность и концептуальность никогда не были сильной чертой культуры, а потому здесь философия, чтобы сложиться, должна по-настоящему стать языком понятий. Любовь к языку и любовь к процессу мысли для меня не раз менялись акцентами, но всегда взаимодополняли друг друга.

О выборе пути. Мое первое образование — филологическое. Любовь к языку была ярко осознанной с детства — такой же сильной, впрочем, как и любовь к музыке, которую еще предстояло изжить. Моим первым филологическим учителем был М.Л.Гаспаров, который с моих 18 лет руководил моим чтением, а с 20 — был фактическим (неофициальным) руководителем моих курсовых и дипломной работы на романо-германском отделении филфака МГУ. Что касается второго образования — философской аспирантуры, то я попала туда в известной мере случайно. Неслучайным было недовольство статистическим подходом к стилистике, подсказанным М.Л.Гаспаровым: я его применяла, но не умела интерпретировать (всегда ли частое — более важное или, наоборот, — редкое и есть самое важное?), и я начала нащупывать для себя новые пути и перспективы.

Мне помогла Т.В.Васильева, которая работала тогда в Институте философии Академии наук. Как раз в год моего окончания университета там искали специалистов в конкретных науках, которые имели бы интерес к философии и хотели бы заниматься проблемами методологии науки. Я написала вступительный реферат в аспирантуру, изложив мои сложности, связанные с интерпретацией частотных словарей, полгода готовилась к вступительным экзаменам и была принята в сектор — лучший в Институте. Тогда он назывался сектором диалектического материализма, а теперь называется сектором теории познания. На меня сильно повлиял общий климат работы в секторе, соединившем совершенно разных по взглядам людей (спинозист Ильенков, позитивисты Швырев и в тот период Никитин, будущий религиозный мыслитель и поклонник раннего Маркса Батищев, экзистенциалист Трубников и др.). Заведующий сектором, молодой тогда В.Лекторский — сейчас он руководит целым отделом и к тому же журналом «Вопросы философии», — умел обеспечивать выживание всем, что было в то время — 70-е годы — удивительной редкостью.

Я думаю, можно сказать, что моя дальнейшая жизнь в науке была колебанием между крайними полюсами проблемы — филология в ее научной форме (как ее представляет себе М.Гаспаров и, быть может, он один) и философия, в пределе — где-то на словесно-невыразимом полюсе. Собственная позиция вырабатывалась между молотом и наковальней и ощущалась как переживание невыразимого, преобразующее запас дискурсивных возможностей и позволяющее артикулировать все больше и больше невнятного. Вопрос о выработке философского языка — один из тех, что возникают в этом пространстве напряженностей.

Я думаю, можно сказать, что моя дальнейшая жизнь в науке была колебанием между крайними полюсами проблемы — филология в ее научной форме (как ее представляет себе М.Гаспаров и, быть может, он один) и философия, в пределе — где-то на словесно-невыразимом полюсе. Собственная позиция вырабатывалась между молотом и наковальней и ощущалась как переживание невыразимого, преобразующее запас дискурсивных возможностей и позволяющее артикулировать все больше и больше невнятного. Вопрос о выработке философского языка — один из тех, что возникают в этом пространстве напряженностей.

Из филологии важны были такие книги, как «Психология творчества» Выготского, «Исследования по эстетике» Ингардена (один из немногих тогда переводов современной западной мысли), тартуские Труды по знаковым системам. Из философии — уже в аспирантуре — ранний Леви-Строс, Альтюссер и, конечно, «Слова и вещи» Фуко — книжка, которую я когда-то переписала почти целиком от руки в Ленинской библиотеке, еще не надеясь даже, что мне вскоре доведется ее переводить для советского читателя.

Об изменениях. Я прошла через три разные профессии: 10 лет занятий музыкой (фортепиано), шесть лет занятий филологией на романо-германском отделении филологического факультета МГУ и потом — аспирантура и вся последующая работа в Институте философии. Получается очень прерывистый «исследовательский путь».

В философию я попала из-за неудовлетворенности тем, что у меня получалось в филологии. А потом, «внутри философии», тоже были изменения, для меня существенные. Я рада и тому, что в чем-то главным я была последовательна, и тому, что менялась.

70-е годы — это работа над кандидатской диссертацией о французском структурализме, совершенно тогда неизвестном в СССР. 1980-е годы — работа над докторской диссертацией о проблеме рациональности в более широком ключе. 1990-е годы — работа над русским философским языком и межкультурным переводом. Конкретно — над двумя большими переводами — «Словарем по психоанализу» Лапланша и Понталиса и «Грамматологией» Деррида (в обоих случаях требовалось найти русские эквиваленты не просто немецкой мысли — психоанализа и феноменологии, но немецкой мысли, прошедшей через французскую интерпретацию), а параллельно — размышления о переводе, о соотношении в нем философии и филологии.

Менялись предметы, но менялись не полностью. Так, «французские структуралисты и постструктуралисты» — Леви-Строс, Фуко, Лакан — занимали меня и после 70-х годов, я пыталась следить за их продолжающимися путями. Проблема рациональности, сама возможность рационального описания культуры интересовала меня всегда. А наведение культурных мостов и переводы — все это существовало и в первый период, когда я переводила Фуко и нужно было решать, что и как требуется «переводить», «переносить» из одной культуры в другую. Я решила: брать все то, что поддается рациональному описанию с акцентом на методологию и эпистемологию гуманитарных наук. Идеологии (и проблемы власти, которая заворожала следующее поколение) я старалась избегать, насколько могла, — и в СССР, и во Франции. Мне кажется, что тем самым я смогла тогда перевезти через идеологическую границу максимум возможного.

Во французском структурализме меня интересовало прежде всего то, что было выражением рациональных тенденций, отсюда

было естественно перейти к проблеме рациональности как таковой и далее — к возможностям ее выражения в слове. Чем были вызваны изменения между периодами? Думаю, скорее усталостью от какого-то одного надолго задержавшегося ракурса внимания, чем «собственной логикой исследования предмета».

Соотношение эмпирического или исторического с теоретическим в разное время у меня было разное. Вначале я прежде всего хотела стать философом и, хотя эмпирические описания нового французского материала у меня явно преобладали, теоретические рассуждения я ценила тогда выше. А теперь, как мне кажется, я стала немного более свободной — пусть получается, что получается. Могли сыграть роль и внешние обстоятельства — долгие зарубежные командировки, преподавание русских и французских сюжетов в разных аудиториях — все это, конечно, усилило внимание к сложностям культурного общения и понимания. А вот в первые два периода я вряд ли особенно менялась, и мне это нравилось.

Об обществе и сообществе. Для научного сообщества мои предметы явно были маргинальными. На формалистские занятия литературой — вроде частотных словарей по лексике Шекспира — официальные руководители смотрели очень косо. Публикация совместной с М.Л.Гаспаровым статьи о сонетах Шекспира и переводах Маршака вызвала такое отторжение на кафедре английской филологии, где я защищала диплом, что мне пришлось оттуда уйти. Мои исследования французского структурализма в широком плане были первыми в СССР и потому совершенно маргинальными, как это ни странно слышать сегодня. Напротив, тема рациональности была подсказана общими обсуждениями в секторе Института философии: тогда многие мои коллеги писали о рациональности, хотя и с совершенно разных позиций.

Свое место в философии я тоже считаю маргинальным — между философией и гуманитарными науками, с акцентами то на том, то на другом. У меня нет комплекса превосходства философов, которые пренебрежительно говорят предметникам: это не философия. И нет сопротивления предметников, которые говорят: не лезьте в наш монастырь со своим уставом, сами разберемся. Иногда мне кажется, будто я играю на обоих полях сразу, и не болею ни за кого, а только за саму игру.

Об оценках моей работы. Раньше мою работу едва ли не переоценивали — дали премию Ленинского Комсомола за книгу о структурализме. Родной Институт философии мою книгу никуда не рекомендовал, она была просто послана на конкурс работ молодых ученых, а потом была кем-то передана на более престижный конкурс. А сейчас, я бы сказала, скорее недооценивают. Когда в 1977 году вышел перевод «Слов и вещей» Фуко с моей вступительной статьей, иностранных гуманитарных книг выходили считанные единицы, поэтому книгу знали очень многие. А сейчас, когда в ситуации полной неразберихи с психоанализом я перевела лучший европейский словарь-энциклопедию, которым до сих пор пользуются по всей Европе, эта книга особого интереса не вызвала, хотя явно его заслуживала. Что касается перевода «Грамматологии» Деррида, то тут почти никто не отметил того, что я считаю самым ценным в этой работе, — максимальную степень последовательной терминологичности. Эти принципы терминологического подхода к переводу я описала по-французски и получила на эту статью очень хороший отзыв Деррида.

Изменения в структуре и функционировании сообщества — по крайней мере, философского сообщества — за последние годы безусловно произошли. Многие поменяли свои насиженные места — методологи пишут литературные эссе, защитники рационализма стали убежденными релятивистами, есть и прямо противоположные случаи. Странно — нередко эти изменения почти не осознаются самими их носителями. Или это всегда так бывает?

Старые критерии профессиональности разрушились, а новых не появилось, так что многие пишут философские диссертации вообще неизвестно на каком языке (метаязыке). Мне кажется, что это нехорошо. В России непрофессионализм вреден именно потому, что в ней было мало академической философии, что философия не сложилась как национальная традиция. Напротив, на Западе — из-за разницы в социо-культурных ситуациях — осторожное размывание узкопрофессиональных критериев может быть вполне оправданным, так как там (по крайней мере, во Франции) эти академические и административные критерии давно сложились, очень сильны и во многом сковывали в философии поиск сопряжений философии с не-философией, что бы мы этим словом ни называли.

Об отношении к философии. В университете преподавание философии для филологов было либо неинтересным, либо просто анекдотическим. Запомнилась одна преподавательница истории партии, которая безусловно была умным человеком: оказывается, можно быть умным даже в глупом предмете. Философия ученому-предметнику нужна — таков, во всяком случае, мой личный опыт. Мне кажется, что именно от недостатка философии, эпистемологии, методологии я когда-то застряла на вопросе о том, как перейти от накопленных статистических данных к интерпретации текста (впрочем, этого я и сейчас не знаю). Философия нужна как побуждение к осмыслению того, что, как и почему делаешь (в трудных ситуациях это очень нужно). Думаю, что философия наукой не является, хотя опирается на доказательность своих рассуждений и отказывается от откровения. Если же философия опирается на откровение и на мистику недискурсивного толка, то она, на мой взгляд, может быть религиозной мудростью, но не может быть философией как местом и способом самостоятельного суждения человеческого разума.

О науке и научности. Раньше я думала, что единая наука существует, сейчас думаю то же, но с меньшей уверенностью. То, что может быть единым по способу понимания предмета и по методу, составляет на самом деле крошечную часть наличных знаний в гуманитарной области. И как мне кажется, нынешние мировоззренческие установки не позволяют надеяться на то, что эта часть гуманитарного знания будет расширяться. Критерии научности — наличие каких-то форм соотношения теории и эмпирии, проверяемость (пусть и не непосредственная и не прямая), связность принципов, иногда — применимость математических методов.

Отношения между философами и филологами сейчас конфликтны. Разумеется, это касается не всех философов, но лишь тех, кто считает различные тексты культуры своей эмпирией. В основном это философы, в широком смысле слова, постмодернистской ориентации. Конфликт возникает не там, где раскованный филолог, не озабоченный строгостью своей интерпретации, сталкивается с философом постмодернистской ориентации, тоже не очень этим озабоченным, но при столкновении филологов «жесткой линии» (пример — М.Гаспаров) и философов постмодернистской ориентации. Главное обвинение (все они, как прави-

ло, идут от философов к филологам, а не наоборот) таково: вы занимаете властную позицию в культуре как жрецы-хранители правильной интерпретации текстов. В этом обвинении соединяются «сопротивление власти» (властно-политический довод) и «сопротивление единственно-правильной интерпретации» (противонаучный довод). Однако этот последний довод направлен не на выравнивание позиций власти, а на захват ее и на несколько не меньший диктат. Если выбирать из разных диктатов, диктат произвола хуже, чем диктат скучного позитивистского знания.

Я думаю, без компьютера я бы не перевела Словарь Лапланша и Понталиса по психоанализу, так как постоянно нужно было сверять и выдерживать употребление терминов, а их было 350! К сожалению, компьютером я владею слабо и работаю на нем в основном как на старой пишущей машинке, а интернета и вовсе дома не имею, но хотела бы иметь и считаю, что это полезно, если выработать свою ориентацию в безбрежном море нужной и ненужной информации.

К формальным и структурным методам отношусь хорошо и считаю, что «структурализм умер» — это лишь идеологический лозунг. Необходимость описания и структурного представления разных предметов современной гуманитарной культуры ничуть не уменьшилась, скорее, наоборот.

Гуманитарное знание — хотя бы и опосредованно — зависит и от социальных обстоятельств, и от общепринятых взглядов (например, исследование языка польского Сопротивления показало, на удивление его идеологам, насколько протестная речь сохраняет в своем составе элементы речи опровергаемой). В советский период, который в философии совпал у меня с попытками продвижения структуралистских работ, требовал безусловной «критики» — в определенных пропорциях с положительным изложением. Все ухищрения направлялись на то, чтобы увеличить место положительного изложения и уменьшить долю критики или сделать ее как можно более нейтральной. Разумеется, область «методологии науки» или «философии науки» была менее идеологичной, чем истмат или научный коммунизм. Наш сектор считался «элитарным», чем мы очень гордились. Конкретных форм идеологического давления было много.

Той, которая для меня сейчас главная, ибо я, так сказать, с ней и борюсь, это некоторое «насилие над языком»: необходимость пропускать через марксистскую терминологию и марксистскую систему понятий абсолютно все содержание сознания и познания. Делать это можно было более умно и тонко и более глупо и неинтересно, иногда — убежденно, иногда — как дань чистой риторике. Сейчас приходится — как раз на стыке философии и филологии — «бороться» с последствиями этого долгого периода власти над языком, насилия над языком. А это значит — учиться выражать на русском языке понятия из тех сфер познания, которые были практически закрыты в советский период (психоаналитические, феноменологические и др.).

Представления о том, что считать рациональным и нужно ли вообще стремиться к рациональному рассуждению в философии, изменились. Причем не только за последние полвека, все это началось раньше. Повысилась терпимость к ненаучным и вненаучным образованиям (магия, религия, миф), которые стали не просто предметами отдельного исследования, но также тем, что ищут (и подчас — находят) в рассуждениях, претендующих на рациональность. Смягчился разрыв или, как говорили раньше, следуя позитивистской терминологии, «критерии демаркации» между научным и ненаучным. А также между философским и нефилософским. Среди других новшеств иногда называют некоторое ослабление принципа критицизма, что предполагает возможность полагаться на традицию, а не начинать непременно с нуля, отказ от поиска жесткого фундамента познания, а также осознание невозможности предписывать науке определенные (и неизменные) нормы. Одним из изменений является отказ от преимущественной опоры на науку в разработке теории познания и признание равнозначности различных форм сознания и познания, особой роли обыденного знания, конструкций здравого смысла.

В самое последнее время мода на постмодернистские подходы, размывающие все ранее существенные критерии разграничения между формами и видами знания, сменяется прямо противоположной тенденцией — грубой критикой постмодерна как воплощения дьявола в современной культуре. Обе позиции мне не нравятся. Я никогда не была пропагандистом постмодерна и всегда сохраняла критическую дистанцию по отношению к интересным мне пред-

метам изучения. Однако теперь, когда постмодернистов предают анафеме те, кто еще совсем недавно был убежденным релятивистом, мне хочется показать, что в постмодернистских философских построениях реальных проблем, несмотря на раздражающие способы их постановки, ничуть не меньше, чем в любых других философских построениях.

Вопрос об оценке современного состояния философии на Западе и в России один заслуживал бы целой анкеты. По-моему, самое интересное и там и здесь связано с усвоением нового, а какими будут результаты этого процесса, судить трудно. В современной России открытость западному философскому опыту, освоение новых понятий, выработка своего философского языка — это сейчас, по-моему, главное. В разных западных странах дело обстоит по-разному. Во Франции, например, важная часть философского процесса связана сейчас с освоением немецкого и англо-американского постпозитивистского наследия. И потому проблемы, которые в России, где постпозитивистов знали раньше, уже отошли чуть в сторону (проблема рациональности, например), во Франции много обсуждают на конференциях и симпозиумах. Каждая национальная философия (не говоря уже о различных направлениях внутри общенационального философского пейзажа) что-то знает и чем-то владеет, а чего-то не знает и чем-то не владеет. Так пусть этот процесс взаимоусвоения в результате переводов и дискуссий насколько возможно расширяется.

Что касается общих тенденций, то они оказываются взаимоисключающими. С одной стороны, продолжается процесс релятивизации, снятия фундаментов, норм, четких границ и делений. С другой стороны, период иррационального барочного стиля в философии, кажется, начинает наскучивать, как и любая другая литературно-художественная мода, а это в свою очередь означает, что больше энергии будет обращаться на порядок, нежели на хаос.

О студентах. Важно и то и другое: и накопление знаний, и освоение методов. Пожалуй, прежде всего сейчас стоит учить многим разным методам, чтобы человек, владея разными приемами и подходами к материалу, мог выбрать то, что ему нужно в данном конкретном случае. Ну, а творческим прорывам никто никого не учит, это возникает само — у тех, кто овладел существующими методами, но не может вместить свои интуиции в их рамки.

Я затрудняюсь сказать, что такое я знаю, чего не знают современные студенты. Мне кажется, современные студенты лишены чувства значимости знания и энергии, направленной на получение знания, — а мне это свойственно. Другой вопрос — хорошо это или плохо. Совсем недавно я думала, что это очень плохо, а сейчас в этом не уверена: в жизни, оказывается, слишком много других замечательных вещей, кроме науки.

А завидую я им, когда вижу в них больше установки на изменение как принцип, меньше страха перед изменениями; завидую их владению современными технологиями, естественности и легкости плаванья по интернету, например...

О будущем. Мне бы хотелось написать работу о переводе, о современном соотношении философии и филологии (о вражде, которая может дать положительные плоды), работу о соотношении объективности и релятивизма в гуманитарном познании. А еще мне хотелось бы чаще видеть друзей, чаще слушать хорошую музыку и еще кое-где побывать.

Содержание

От составителей	3
Индивидуальный интеллектуальный путь (анкета)	5
<i>Н.С.Автономова</i> Коллективный портрет в рассказах о себе	10
<i>Ольга Вайнштейн</i> Текст и текстиль	20
<i>М.Л.Гаспаров</i> Научная «щель»	30
<i>А.Я.Гуревич</i> Позиция вненаходимости	35
<i>И.Е.Данилова</i> Об искусствознании сегодня	47
<i>С.Зенкин</i> История теории	57
<i>Л.Карасев</i> Наука и удивление	62
<i>Г.С.Кнабе</i> Привить древо познания к древу жизни	70
<i>И.Г.Матюшина</i> Динамика житнетворчества: константы — доминанты — тенденции	79

<i>В.Б.Мириманов</i>	
Ответы на анкету	89
<i>С.Ю.Неклюдов</i>	
«Наведение порядка» и «большой проект»	91
<i>Е.С.Новик</i>	
Счастливое стечение обстоятельств	103
<i>С.Д.Серебряный</i>	
Мой путь	113
<i>Н.С.Автономова</i>	
Между философией и филологией	133

Научное издание

Свой путь в науке
Коллективный портрет ИВГИ

Редактор серии Е.П.Шумилова
Верстка О.Б.Малаховой

Оригинал-макет подготовлен
в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ

ИД № 05992 от 05.10.2001
Подписано в печать 20.05.2004.
Формат 60x84/16. Уч.-изд. л. 9,3. Тираж 700 экз.
Заказ №